

*И снился мне кондовый сон России, что древо
жизни вечно зеленеет.*

Ю. Кузнецов, И. Гёте.

19.

Конфузий с загадочным видом прохаживался по светлице, ожидая, когда наперсник и ближайший соратник его Лука приведёт в порядок свою амуницию. Дело было на верхней светлице «Салона». Терминатор поглядывал то на соратника, то в отворённое окошко. «Салон» был расположен таким образом, что даже с небольшой высоты второго этажа хорошо просматривался участок морского берега, не занятый лодочными сараями и вообще свободный от каких бы то ни было построек и следов человеческой деятельности. Над этой частью плавно изгибающейся береговой линии царил огромный очень старый, и так уж повелось, очень нелюбимый лукоморчанами дуб. Давным-давно подле него располагалась свалка всяческих рыбных отходов — селёдочных голов, рыбных потрохов и т. п. Их хоть и закапывали в песок, да всё равно запах в округе стоял ужасающий, нестерпимый даже для привычных носом местных жителей. Давно свалку забросили, давно запахи рассеялись, но место считалось нечистым, и считалось очень большой странностью желание прогуляться в тамошних местах. Тем более, что городскую окраину и окрестности дуба разделял дикий, густо поросший репейником и чертополохом пустырь. Конфузий в последние дни очень вдруг стал внимателен к этой дикорастущей достопримечательности.

— Ну, ты готов, Лучок?

Лука возился с сапогом, но как-то странно. Обещая скоро заделать найденную дырку, всё делал для того, чтобы развернуть её до неприличных размеров. Человеку, менее увлечённому своими дубовыми мыслями, легко было бы понять, что не хочет Лука идти туда, куда ему идти предложено. А именно, в светлицу детинца, где ждёт уже видимо возбуждённая любопытством Любава.

— Да что там с твоим сапогом?

— На грани полной гибели, учитель.

Лука уже предлагал Конфузию различные альтернативы сегодняшнему посещению княжеской дочки. Можно было встретиться с депутатией фанаток, возглавляемых неутомимой Сиклитиньей. Не захотел.

Кормчий Онуфрий составил «Свод вопросов и сомнений», но Конфузию и на Онуфрия с его интеллектуальными мучениями было певать. Можно

* Окончание. Начало см. «Вертикаль. XXI век» № 45.

было пойти — ведь вечерело — погулять, луной полюбоваться от главного лукоморского дуба, раз уж он для учителя стал так притягателен, где гарантированно никто не потревожит по выше изложенным причинам. «Ты ведь давно не медитировал, учитель». «Наиценнейшая медитация наедине с душой, медитирующей в унисон», — таков был предательский ответ. Кстати, слово «медитация» было первой ласточкой из новой словарной стаи. И Лука как-то не придавал её появлению особого значения.

— Это в ком ты увидел и услышал унисон, о, повелитель терминов?!

— Что, что!?

— Ведь сам же ты давеча вещал, что не смыслит она ни сонета, ни триолета, ни октавы, ни альбы, ни рондо, и вся ритмика у неё бедовая, какая-то надрывно-частушечная.

Конфузий покровительственно поиграл улыбкой в углах некрасивого рта, он даже не обратил внимания на то, что Лука не мог впрямую слышать эти претензии, а только подслушать.

— Да, дорогой мой, да, вижу, ты сам уже стал тёртым терминатором, но в том-то и ирония нашей жизни, что, осилив некую высоту, мы понимаем, что зря считали её высотой. Истинные ценности вырастают на ветках, что выше и раньше были невидимы. Что нам теперь «триолеты», Лучок, что нам «октавы».

Пришлось тащиться. Была у Луки мысль просто спрятаться в одном из грязных лабазов, ведь без него улетающий мыслью во всё более отдалённую высь Конфузий ни за что не отыскал бы заковыристой по задам и тайным коридорчикам дороги к заветной светлице, но раздумал. Уж лучше быть рядом, и держать всё под присмотром. Нацепил рванину на ногу, сопроводил к известным дверям и теперь жалел жестоко.

Лука стоял, прижавшись спиной к стене рядом с дверью, ведущей в помещение, где совершалось что-то страшное. Лицо молодого человека чем далее, тем более напоминало своим цветом его невоенный мундир, но серость щёк и лба была какой-то раскалённой, польхающей, а глаза зажмурены, как будто он боялся кого-нибудь убить непреднамеренным взглядом. Что же случилось? Из умело подслушанного Лука сначала сделал вывод, что Конфузий и Любава находятся в кругу привычных речей. Но, очень быстро оказалось — нет!!! Терминатор говорил, говорил, но в речи его почти уже не было привычных стиховедческих словечек. Он сбрасывал старую терминологическую шкуру. Начиналось «Пение без пеона». Никаких тебе «прямых» и «обратных композиций», никаких «амфибрахий» и даже «скрытых отсылок» и «аллитераций». Теперь из его уст высказывали слова совсем уж несуразного, почти оскорбительного вида. Переходным словом от одной словесной стихии к другой была «суггестия», кажись, с её помощью учитель прежде обозначал тайное внушение, и нечто подобное обнаруживалось им в самозабвенном бормотании некоторых былинников. Дальше как отрезало. Дальше пошло что-то напрочь незнакомое — «эксплозия и эмплотзия», кто такие? Уродливые сёстры или виды земляных червей? «Эманация» — что-то смутно, хоть и неприятно знакомое, и сразу же опять — «элиминация». И чаще всего «трансцендентный», «трансцендентная», «трансцендентное». Перебарывая нарастающую панику, всё пристальнее вслушивался и всё меньше понимал. Первая «эннеада», вторая «эннеада» и, после многозначительной, наполненной внутренним трепетом паузы, произносимый явно с большой буквы — «Первоединный»!!!

Терминатор завёл себе новый гарем терминов! Когда?! Когда он, Лука, ничтожный серый червь, набивал лабазы «Салона» во имя его, Терминатора-Конфузия, светлого будущего и в обеспечение духовного владычества в Лукоморье. Он в это время из одному ему известных дыр в вершине мира глотал новейшие откровения! Нос Луки всё дальше вникал в специально оставленную щель, но ушам от этого не становилось легче.

— Да, да, Любава, поэтический текст даёт нам возможность непосредственного созерцания истины в художественных образах, это много, но с какого-то момента этого становится недостаточно! Эта фраза,

несмотря на свою относительную обычность, сотрясла и без того взведенное сознание Луки. Произнесено было громко и без малейшего расчёта, что будет услышано и в предбаннике. Конфузий был в раже, которого прежде с ним не случалось. В ответ прозвучала тихая фраза из уст Любавы. Лука не столько не услышал её, сколько не понял. Княжна тоже уже овладела правилами новейшего лепета. А Конфузий понял её, о, как понял, понял и задыхался тяжело и напористо.

Что там происходит?! Лука уже готов было ворваться в помещение не только носом, но и всем профилем, и тут услышал шаги. Не за спиной. Шаги надвигались из глубин светлицы. Как будто хотели поймать подслушивающего. Лука отпрянул и за сеть!

В предбанник резво, как китобой на берег, выскочил Терминатор, он часто и резко дышал, кафтан его был распахнут, шейных платок размотан, глаза выпучены. Он пошарил этими глазами, нашёл в углу бочонок с квасом, жадно зачерпнул ковшом, жадно влил в себя и решительно унёсся обратно, туда, где происходил обмен неизвестными и такими соблазнительными словами.

Лука несколько мгновений вообще не был способен к шевелению членов и мыслей. И только-только начал приходить в себя, снова шаги. Теперь тонкие женские цокания в половицу, и шаг не напористый, а как бы разморенный, и вот из светлицы выплывает она. Секундное сомнение, и тоже туда, к квасной бадье. Глаза полузакрыты, рот полуоткрыт. Задумчивое зачерпывание, глоток, другой, но оба длинные, жадные, как будто для утоления сильнейшего внутреннего пламени — о, как опалает новейшее знание, почти лишая нормального человеческого облика!

Лука, ощерившись и выпучив глаза, наблюдал сквозь двойную сеть за этим актом краткого отдыха между актами интеллектуального разврата. Любава двинулась обратно, и что за походка была у неё, и даже кажется какой-то непорядок в одежде, и волос подозрительно выбился, и блаженная улыбка на губах... Хотелось закричать от отчаяния. Но только нельзя же было выдать себя обычной бранью или жалобой.

И дверь она не закрыла, и Лука отчётливо различал слова, опять ставшие понятными.

— Я полностью отказался от лукоморского назойливого, рифмующего всё и вся говорца. Штампы, валуны интеллектуальной лени, я полностью разоблачился перед тобой.

Лука жаждал уши руками и бросился вон из сеней. Долго ли, коротко ли лежал он в глухом подвале на мешках с вонючей чешуей, но овладел собой. Дождялся, когда собеседники окончательно обессилеют. Приплёлся в предбанник, дал условленный сигнал: конец тираде, пора бы и к ретираде.

Когда учитель и первый ученик возвращались в «Салон», ученик всё ждал от учителя какого-нибудь слова в связи с только что произошедшим. «Горячая девчонка», — сказал бы самодовольный пошляк. «Эта девушка определено не лишена способностей», — сказал бы вшивый интеллигент. Правда, в Лукоморье не было совсем вшей, и интеллигенция в нашем понимании слова только зарождалась. Терминатор ничего не сказал. Отчего у Луки к занозе в сердце добавилась ещё и заноза в голове. Вот уже они у крыльца. Чтобы случайно не спросить у него, что это за язык он только что применял там, в светлице, для сведения с ума княжеской дочки, Лука повёл речь о хозяйственных предметах. Он сообщил, что окончательно оформлены документы на огромную кладёзь у въезда в Лукоморье, и поинтересовался, не стоит ли купить те два лабаза, что наискосок через улицу от их ставки, потому что скоро уже некуда будет складировать подношения.

— Подношения? — Спросил учитель, явно не очень отчётливо себе представляя, о чём идёт речь.

— Хорошо, — кивнул Лука, — об этом я сам позабочусь.

Конфузий благодарно кивнул.

— Но есть ещё дельце, и тут уж я без вашей визы не выйду на карнизы. Извините за слишком лукоморский говорец.

— Что, что?

— Прошу прощения за просторечие моё, но известили меня с тем, чтобы известить вас, будто бы желает государь наш как-нибудь за своим вечным чаем послушать какую-нибудь славную историю, но из новинок, да из самых смелых.

Конфузий сделал неопределенный жест, чего тут, братец, спрашивать, дело плёвое, хоть и новое.

— Бывший-то государь, отец Добрыни, большой был охотник послушать певца народного, пусть и сумасбродного, поскольку и сам был весьма сумасброден.

Учитель явно не без усилия сообразил, о чём идёт речь, ему пришлось опускаться до уровня разговора с очень больших высот.

— Отец Добрыни? Да, что-то помнится приходилось мне слышать. В дни его правления не только порки повсеместные, но и государственное смертоубийство наблюдалось в деревянном нашем раю.

— И сам он, слыхивал я, учитель, плоховато кончил. С малолетства кричал «Убю!», «Убю!» на кошек, потом на нянек, потом на всех остальных. И погиб как-то нелепо.

— Для чего это ты мне сейчас?

— К тому, что с тех при дворе запрет на пение, боятся услышать, что не погиб он, а убит. Отец мой Горыня весьма следит за этим. Жарче всех следит.

— Пусть следит, нам-то что?! — Искренне не мог вникнуть Конфузий, а Лука в этот момент пожирал его своим вкрадчивым взглядом. Было понятно, что он начинает получать сейчас какую-то одному ему известную компенсацию за те ревнивые минуты, что перенёс в углу за двойной сеткой.

— А я хочу вернуть старое обыкновение. Пусть поют и при дворе, и не только в павильоне на смотре.

— Так верни.

— Не своим же мне повелением вводить, разреши мне сослаться, что таково пожелание всего «Салона», да совет Конфузия во главе того пожелания.

Конфузий тряхнул головой, всё ещё очарованной дивными словесами высших миров — делай, мол, Лука, что считаешь нужным.

— Так я и сюжетец подберу.

Они уже подошли к крыльцу «Салона», учитель ступил на нижнюю ступень и махнул рукой — подбирай.

— Только ты уж потом не откажись, что разрешил. — Конфузий вошёл в помещение, и Лука добавил тихо. — Если спросят.

20.

В «Самобранке» подали одну голую икру. И тут уж голоса распались сверх всякой меры.

— Хоть бы хлеба дали, ироды, — таков был, как всегда в похожих случаях, общий глас.

Как известно, голодные бунты чаще всего случаются, когда еды в стране, в общем-то, полно, только она лежит не в привычных местах. Управитель «Самобранки» попытался объяснить это сгрудившимся туньядцам и лентяям, но им такое объяснение понравиться не могло. Если еды не хватает всем, это ещё можно как-то снести, но если её не хватает только тебе, это ранит. Явились, не сходя с места, и стихийные вожаки, Бык и Антип, они тут же предложили своему голодному народу план действий, выразившийся в одном слове — круши!

Управитель умолял погодить, потому что уже отправил нескольких стражников в свои собственные закрома, и они должны были с минуты на минуту прибыть с хлебными лотками.

Слава те, прибыли! Буча кое-как улеглась. Управитель помчался в присутствии Горыни, да не застал того на месте. Писцы сказали, что боярин дюже занят государственными делами, управитель загрузил и сердцем и лицом, получалось, что хлебное дело государственным пока не значится. Тут к нему и подошёл человек, молодой с виду, да серьёзный, как будто на должности, и сказал – может помочь. Это был Анчо.

Через пару минут управитель уже беседовал с Лукой, а ещё чуть позже тот одаривал его мукой, её выносили прямо из подвалов «Салона» без всяких предоплат. Да и рыбы истинно пряного посола, привычного народному нёбу, Лука настоятелю «Самобранки» подкинул большой бочонок, на двадцать вёдер.

— Выручил, выручил, родной, — распылился управитель.

Лука ласково улыбался, в полупоклоне сгибался, вроде как говоря, что его дело лукоморцам услужать, особливо слабых не обижать.

— В следующей раз, если случится такое, сразу отправляй всю скандальную команду по моему адресу — отоварю. Говори, даром что зовусь Лука, да пайка моя не горька.

Где был в это время Горыня, столь нужный для успокоения скандала в «Самобранке»? Он стоял за портьерой в кабинете Добрыни, но не тайно туда прокравшись, а по приглашению князя, дабы своими ушами услышать, как государь свою дочь станет урезонивать да склонять к нужному результату.

Любава выслушала вкрадчивые речи батюшки на удивление спокойно. Она резко отбрасывала все поползновения Змиевичей, когда они казались хоть чутьочку реальными, теперь же душа её была так далеко, что даже не оскорблялась извивистыми поползновениями из замыслов и поэтому просто скучала и жалела бесталанно бормочущего батюшку.

— Папа, это было невероятно, а стало невозможно.

За портьерой Горыня обливался горячим луковым потом.

— Да что же случилось, доча?

Любава хотела сказать, что не желала пускать Луку на свободное место в сердце, а теперь и не может, ибо место уж занято. Но перевела разговор.

— Всегда я догадывалась, папа, что Горыня твой ехидный когда-то оказал тебе превеликую, а может, и преужасную услугу, которая не забывается, и ты бы рад рассчитаться, да казны твоей всё не хватало. Теперь ты меня решил, как последнюю монету, выскрести со дна кошницы. Непонятно только вот что — почему расчёты эти стали столь актуальны именно сейчас?

Добрыне слова дочкины казались не вполне сообразными и уж вполне неуместными — уж не бредит ли? А тут ещё и боярин официально подслушивает, князь мучительно переминался на лавке и кривил физиономию.

— «Актуальны», говоришь, не со своего голоса поёшь, доча. А про услугу я и вообще надоед слушать. Какая такая услуга? Почему ты не веришь в простую мужскую дружбу, и в служебную верность не веришь. Горыня со мной всегда и всегда для пользы. Ничего другого тут не скрывается.

Дочь презрительно фыркнула и ушла. Горыня прыг из укрытия, рот оскален, глаза как гарпуны.

— На что Любава намекает, какая услуга, просвети, государь, какой-то между вами секрет против меня, верного?

Добрыня растроено пожал плечами, всплеснул ладонями:

— Да ты и без меня знаешь. Бродят слухи да слушки глухие, и чем дальше, тем глуше, про кончину родителя моего, будто не сам он того, рыбьей костью подавился. А может, и не рыбьей, а может, и не костью, а может, и не подавился. Перед кончиной был подавлен, это точно, только что это доказывает! Другие говорят, что ножичком запоролся случайно. Чтобы взрослый, хоть шальной человек взял и зарезался? Про кость, оно правдоподобнее. Знаешь же — не любил я его, и не любил он меня, и не люблю я об этом вспоминать.

— Княжна намекает, что я знаю что-то этакое о кончине твоего батюшки?

Горыня внимательно поглядел на князя, и тот замахал руками:

— Сколько лет прошло, забыто, заиграно, скоро уже и шёпоты стихнут, зачем нам это ворошение листвы палой! — Лицо князя сделалось почти плачущим и таким несчастным, что боярин его вроде как пожалел, что выразилось в перемене темы.

— А насчёт словечек Любавиных ты прав, батюшка. Конфузий баламутит, весь словарь вывернул и растряс, отовсюду, как пружины из старого дивана, повылезали пучки злых новых терминоидов, или как их там. Остры — страсть, тронь — обрежешься. Он ведь всё ходит к ней.

— Ты уж сообщал, — мрачно процедила Добрыня, — правда ли, что там всё только словесное, умственное?

— Чистый Платон-Платоушко, бесплотно и словесно, хотя и подлогу, — огорчённо махнул рукой Горыня, — ей-ей, лучше бы она с каким-нибудь дюжим гребцом закрутила по-настоящему.

— Да что ты такое говоришь, — оскорблённо вскинулся правитель Лукоморья, — а ещё о Луке своём вроде как печёшься! Цинизменно шутишь, боярин!

— Це не низменно, как говорят наши партнеры по салу, це простая правда. От новых слов много новых бед.

Добрыня помрачнел, задумался, что само по себе было для него тяжело и неприятно, и выдал вердикт:

— Ворота для Любавы на замок! И для Платона этого тоже! Слово — это оно только в начале слова, а там... Чтоб изнутри был замок и снаружи.

— Уже исполнено, батюшка.

— А не убежит она с ним, с Терминатором, прямо через забор? Небось он задумал что-то каверзное. Первый болтун, ведь знаешь, всегда покушается на сердце первой девы.

— Чтобы он там ни задумал — не успеет. В ближайшие дни я развяжу этот узелок. Или разрежу.

Князь испуганно и тоскливо посмотрел на министра и ничего не сказал.

21.

Лука совещался в узком кругу своих присных. Учитель давно уже не посещал эти сходки исполнителей, ему всё труднее было спускаться с высот чистого размышления в подпол повседневной практической суеты. Да его уже и не пытались в последнее время вызывать из астрала.

Первой консультировал Лука самобытную и ненасытную по части правды и гендерной справедливости Сиклитинью. Она сильно выросла в своём критическом значении в последние недели. Настолько пропиталась правдивостью, что даже ещё рыжей стала. И сменила прозвание своё, чем-то ей перестало нравиться замечательное старинное имя Сиклитинья, она объявила, что теперь к ней надо обращаться — Фонема. Так звучнее и современнее. И подружка появилась у неё — Терцина. С них стали брать пример и парни. Несколько юных Елисеев и Корнеев сделались Терцетами и Катренами. Лука тайно морщился, в имени Катрен ему чудилось что-то слишком армянское, но он считал, что на данном этапе лучше ему себя позиционировать в качестве самого широкого интернационалиста, он и позиционировал. Кстате, раж и жар переименований коснулся не только имён личных, Фонема сказала, что негоже им заседать в заведении под сомнительным названием «Салон», не толковее было бы именовать его «Боян». И точнее, и патриотичнее. Лука тихо удивлялся, как это расширение интернационализма так просто увязывается с укреплением патриотизма. Да ладно, уже скоро настанет момент, когда всему будет определено и место, и мера.

К Сиклитинье-Фонеме прилеплялись всё новые девахи, которым импонировала её «оторви да брось» манера. Язык — словно шило с крюч-

ком, как у бывалой сетеплётки. Манера душить соперника терминологией у неё была своеобразная, речь и солёная, и слоёная по смыслу. В общем, хорошо узнаваемая. Певцы при виде её уже не переходили на другую сторону улицы, а бросались опроретью кто куда и ховались в подворотнях. Не приведи выпустить — выпустит критическую стрелу, будешь хромать на раненом размере целую путину. Она даже позволяла себе нарушать вроде как обещанный самим Конфузием указ о запрете критического шельмования певцов лодийных в чисто береговых условиях. В общем, чувствовали за ней силу, да не только чувствовали, но и видели — бродила по улицам за Сиклительней толпа бабёнок довольно забубённых и всё более день ото дня безбашенных, интеллектотом обезображенных. Изрядно начитанный и сведущий Фока называл их «вахханками», они обижались, утверждая, что хамками себя величать не позволяют даже лучшему представителю племени изящных словесников.

На днях должна была состояться великая символическая процедура «введения бабы на лодию». Кормщици этого не хотели, гребцы этого не хотели, певцы — тем более, но приходилось считаться с тем, что многие из их жён уже почти не тайно сочувствуют этой идее. Чем баба хуже мужика?! Не было якобы издревле такого в заводе? Просто баб подходящих не сыскивалось на Лукоморье, а теперь вот вам Сиклительня-Фонема любого носителя штанов заткнет за шлейку сарафана. Когда же таким торопящимся девушкам и дамам намекали, что Сиклительня-то и петь не горазда и сочиняет совсем уж не сладостно, то слышался в ответ просто хохот. «Когда нечего возразить по существу, вы к голосу придираетесь».

Назначена была большая сходка в «Кормиле», где кормщици и выборные из певцов должны были дать добро или отлупить идее выхода Фонемы «на воды». Она сама собиралась туда с товарками.

— А если они согласятся только на словах, никто же своё место не отдаст. Певец он ведь что баба, ему бабу обидеть не стыд. — Сомневалась передовица.

Лука успокоил.

— Две у меня заготовки против них. Я поговорил приватно с одним голосистым, пообещал ему немало и тайно, должен не заботиться корпоративного гнева и шмякнуть шапкой в пол — пускаю Сиклительнюшку, держай! А мы все заголосим, что не надо называть его предателем, он гражданин будущего, а в нём мы раздавим проблему пола, хватит ей терзать женские массы.

— А если корпоративного гнева всё же заботится?

Лука усмехнулся.

— Тогда будет объявлено, что я закладываю особую лиловую лодию, и ты будешь на ней, Сиклительнюшка, не певцом-практикантом, а кормщиком.

Девка жадно вытаращилась на серого благодетеля, о, этот гадкий лучонок продолжал её удивлять, как он взорлил идейно в последние дни. Казался просто ключником да наушником при учителе, а вдруг являет и масштаб, и размах, и мысль его бьёт, как острога.

Вторым докладывался Анчо, он с некоторых пор перестал так уж яростно утверждать, что в родительницах у него была Кириллица, стал выводить свою родовую линию из «морских цыган» и отрастил усы, за что Лука стал называть его — Ус. «Не потому ли, что я мужчина маленького ростка?» — поинтересовался «цыган». Нет, искренне отвечал, что Ус он оттого, что отрастил украшение на верхней губе. Поверил ли Анчо, понять было нельзя. Оказалось также, что таких, как он, личностей в Ужово сыскалось до десятка человек, да в заброшенных хижинах на берегу в Лукоморье тоже имелись. Люди перекаати-поле да перекаати-море — все цыгане волны и пыльной дороги. Все разнокалиберные в смысле глаз разреза и волос цвета, в основном, пьянь босяцкая, портово-подзаборная, но из них набралось довольно большое число расторопных, на всякие

умения умелых и к взлому и к драке готовых. Ус их подбирал, от винной хвори и лени лечил их как-то по своему, Луке не рассказывал.

Лука не стал попрекать помощника скрытностью, главное же в человеке не кровь-матушка, а ум-батюшка. Из обычных лукоедов да рыбохватов справного помощника не выищешь. Дал Лука Усу и людишкам подведомственным внятные задания. Быть в нужный момент в трёх местах. У «Кормила» — вдруг снесёт головы у кормщиков и дойдёт до рукоприкладства — вмешаться и Сиклитунышку сберечь. В «Самобранке» также быть, по возможности, незаметно, но в нужном направлении направлять возмущение, потому что возмущение будет. Третьей компашке у лабазов слоняться и кричать, когда толпа привалит, жаром дыша, что Лука, именно Лука, молодец и спаситель! Лука! Кормилец народа, своё отдаёт, не жалеет.

Последним из приближенных, к кому было слово у Луки, оказался Форте-иноземец, его уже все звали по-здешнему — Фортя. Парень давно уж не пил, в силу чего плавать не мог. Прежде ему бражка смягчала тошноту на волне. На трезвую он и двух нот связать не мог. Протирал бархатные заморские панталоны в комиссии. Когда было совсем плохо, писал о своём житье-бытье на странной чужбине единственному своему родственнику на китобойной стороне, старшему брату. Тот, кажется, делал карьеру, подрастал на китовых должностях всё пуще и пуще. Лука предусмотрительно не препятствовал, а вдруг братка вырастет до постов степенных, а мостик для переговоров с ним через брата готов. Спрашивал иногда, не отвечает ли родственник и что отвечает. Фортя сообщил, что брат — больше читать, чем писать, но одну фразу привёл. В ответ на рассказы о лукоморских словесных баталиях китобой заметил, что «критика — последнее прибежище интеллигента». «Кто такой — интеллигент?» — спросил Лука, смутно догадываясь, в чём дело; собеседник замялся.

— Пиши, Фортя, пиши! Глядишь, брательник кита подарит.

22.

В «Самобранке» по очереди хороводили то Бык, то Антип. Один пришёл вдруг к совершенно несуразному выводу, что бездельный посетитель государственной столовки не обязан впредь себя поносить неприятными словами, ибо ему и так несладко живётся, к примеру, куда хуже, чем заседателям «Кормила». Ну, раз пришёл к выводу вожак, то и все остальные к этому же выводу пришли тоже. Другой вообще выдвинул мысль, что босяк, посетитель «Самобранки», не только не хуже зажавшегося кормщика, он его лучше, ибо глади морской не царапает, рыбных семей не разбивает, грязных башмаков в синь-волну не роняет и даже туда не сморкается, отчего должен считаться другом природы, а не потребителем. За что ему честь, а вынуждать его к самокритике — надругательство над естественным правом. Умные речения шагнули в самую уже гущу народную.

Горыня развернулся во всю скрытную силу своего характера. Инструктажами и страданиями довел Микулу, Устиньюшку, стражников домовых девок до состояния ходячего обморока. Повсюду у него замки, щеколды, крючки. Случись Терминатору без спросу сунуться во дворец, получит Конфузий конфузию. В духе отвратного времени даже Горыня стал поигрывать созвучиями. И главное, саму Любаву-княжну самым однозначным образом упёк под замок. Былинники выслали делегацию в «Салон» из самых важных: Фока, Лаврентий, Андрей, чин по чину с просьбой. Захотели, оказывается, певцы устроить общую сходку для выработки выводов по сути момента. В сложившейся ситуации дворцовый павильон был в недоступности, в «Кормило» не пустят, в «Самобранку» самим не хотелось. Пришли за советом к Терминатору, только Конфузий к ним не вышел, да и вообще было неизвестно, где он в настоящий момент. Пришлось разговаривать с Лукой. Да, по правде сказать,

в Лукоморье стали привыкать, что дела лучше делать с укромным этим молодцем, чем со странноватым, хоть и великолепным обладателем терминологических первоисточников.

Съезд былинников речистых в «Салоне», или «Бояне», уж и не поймёшь, Лука разрешил. А какова цель заседания? Оказалось, ни много ни мало — выработка обращения к князю. Творческая интеллигенция увидела большую опасность, что угрожает государству, и отцу отечества надобно вмешаться. Видя опасность, они тут же ощущали и ответственность за судьбы Лукоморья. А чего вы, собственно, хотите? И чего вы, собственно, боитесь?! — вскинулся было Лука, да сразу же снизил тон, дай лучше послушаю.

Песня былинников для него новостью не стала. Да, в стране развал и духовное потаскушничество. В семьях брожение, дочки не только старших братьев, но и молодых отцов не слушаются, не говоря про старых и заслуженных. Бездельники смеются над работниками, «Самобранка» поносит «Кормило», «Кормило» презирает «Самобранку». Молодежь отвержена исключительно болтовне на берегу. Уже не только их, мастеров плетения словес, но и мастеров плетения, скажем, сетей ни в грош не ставят. «Дали бы вы нам рыбы, да подальше шли бы!» — вот молодежный лозунг момента. Я вас понимаю, господа творческая интеллигенция, и боль вашу ощущаю, как свою. Вот потому-то, господин Лука, мы к тебе. Знают все, что ты не ставишь абстрактное стиховедение выше привычного рыбоводства, и не стяжатель, плащей из золотой чешуи шить себе не велел, и «китовых глаз» (драгоценные камни) на пальцы не нижешь. Больше того, людям нищим лукоморским от тебя бывает и пищевая, и вещевая подмога, и к безродной гольтыбе ты не так суров, как батюшка твой, дай ему море здоровья да где-нибудь в стороне от лукоморских дел. Одним словом, решили мы всем пишущим миром в ноги Добрыне пасть, ибо человек он не только по имени добрый. Выдать не должен.

А когда, господа, собраты собираетесь?

Андрей, Лаврентий и Фока ответить не успели, в каморку к Луке явилось осторожное, опасливо оглядывающееся, но вместе с тем чем-то и величественно-значительное видение — сам Конфузий. Почтенье к этому человеку, с тех пор как былинники, да и все прочие люди почти перестали его видеть и совсем лишены были возможности слышать, только выросло. Гости поприветствовали озабоченного Терминатора, резво встали и удалились, по глазам Луки сообразив, какой важности и немедленности предстоит тут в каморке беседа.

Из первых же слов Конфузия Лука понял, что утрачивает контроль над ситуацией. Он-то думал, что неотмирный учитель безвылазно сидит в своем укывище и лелеет на вершинах возогнанного в самые выси духа сияющую абстракцию, а оказалось, что умственный этот человек, помимо этого занятия, строит какие-то и совсем земные планы по переделке реальности. Да ещё могущие поломать ему, Луке, все только что задуманные планы.

— Чем я могу помочь? — просил Лука, выслушав первые сбивчивые фразы учителя. — Можете на меня положиться.

— Я знаю, Лучик, на тебя можно всецело положиться, ты мой самый верный ученик.

«Но не самый продвинутый», — съехидничал про себя Лука, он знал что с вопросами про «Плерому», «Астральные тела», «Первоедино» и другое в том же роже, лучше сейчас помалкивать. Откуда явилась эта зараза, не выяснять?

— Я решил оставить этот мир.

Лука изобразил на физиономии настолько ужасающий ужас, что даже вызвал снисходительную улыбку на деформированном лице.

— Нет, нет, я имею в виду всего лишь Лукоморье. Я сделал всё, что мог, всю правду открыл о строфе, о рифме, о сюжете, содрал коросту старых норм и предъявил выбор свободных новшеств. Отделил зёрна

истинной певческой красоты от плевел халтурного бляения. Я засеял поле...

— Так подождать бы всходов, — осторожно произнес Лука, в планы его совсем не входило уговорить учителя остаться.

Конфузий грустно улыбнулся.

— Я не обычный сеятель, боюсь, меня удивят всходы из тех семян, а всходы, заколосившись, не опознают во мне сеятеля. — Он ткнул пальцем в сторону большой светлицы «Боян-Салона» (Лука решил, пусть будет двойное название), где бурлили голоса удалившихся недалеко былинников. — Ты же слышишь, что там происходит. Эти люди потом будут утверждать, что они были внимательнейшими моими слушателями. Причём это лучшие из них. Чтобы завершить мой сюжет положенным образом, я должен исчезнуть. Или умереть, или исчезнуть.

— Вы выбрали второй путь.

— Да, я выбрал путь, и у меня есть спутница.

— Путь без спутницы беспутен, — сказал Лука только для того, чтобы что-нибудь сказать.

Учитель опять грустно улыбнулся.

— Вот и ты Лука, ближайший мой, всего лишь играешь словами и не веришь до конца, что весь наш мир, быть может, лишь игра слов.

— Извини, учитель, когда подолгу болтаешься среди болтунов, заражаешься болтливостью.

Конфузий вяло махнул изящной кистью.

— Да что там... А просьба моя к тебе вот в чём. Я не могу проникнуть через заслоны угрюмых хамов, что загородили все пути к той светлице, где... В общем, ты должен мне помочь. Ты скажешь Любаве, где стоит моя тайная лодия, готовая к отплытию. Там всё есть — и вода, и еда, и аптечка, и даже маленькая отобранная библиотечка. — Конфузий быстро сплюнул пару раз в этом месте, словно освобождая губы от шелухи непрошенных рифмочек. — И поможешь ей вырваться из-под надзора, ты же всё-таки боярский родственник.

— Обмануть папу? — в притворном ужасе вскинулся Лука.

— Ради такого дела не грешно.

— Ладно, учитель, ради вас и Любавы пойду на преступления, будь они даже кровавые. — И он тоже сделал вид, что торопливо сплёвывает.

— Вот, вот, — Конфузий печально улыбнулся, — и ты, и даже я, мы дети своего народа, в момент волнения мы возвращаемся к природной нашей речи, как все, в нас много лукоморского, я бы сказал, слишком лукоморского.

— Погодите, учитель, вы кое-что важное редуцировали, мне кажется.

— Ась?

— Место тайного пристанища вашего кораблика.

— Наклонись ко мне — шепну тебе в ушко.

23.

После исчезновения учителя Лука действовал быстро. Как из-под земли был выдернут Анчо и получил задание проследить, туда ли, куда сказал, направит свои таинственные стопы влюбленный беглец. Проследить и доложить. Была опасность, что может учитель ввести в заблуждение своего доверенного Луку просто в силу высшей рассеянности.

Далее было так: Лука велел вернуть в свою каморку трёх богатырей лукоморского художественного слова. Вот они снова перед ним: самый заслуженный, но уже отягчённый годами и хворями Лаврентий, годы его наивысшей славы, в общем-то, в прошлом. Ему, как говорится, нечего терять. Андрей — самый молодой и самый неотёсанный из троицы, талант его ещё гранить и гранить, зато напору — девятый вал на девятом вале. И Фока, в самом соку талант, в самом авторитете, не лыс, и не кудлат, и каждое слово в лад. Кто из них решится? Один, двое, а, может, и все трое. Лука уже успел в деталях продумать предстоящую акцию и

даже представить себе расположение основных фигур на доске после окончания безумной комбинации.

— Вот, — сказал серый юноша с бледным лицом и вспотевшим лбом, выкладывая на стол некую костяную коробку, извлечённую из бревенчатого сейфа в стене, — здесь документы, самые важные и самые тайные в нашем отечестве. Как они ко мне попали, разговор особый, отдельный, захотите — расскажу, но только тому, кто не откажется меня слушать, не уйдёт, захлопнув навсегда эту дверь. Предупреждаю, если вы останетесь на этом берегу, сбежать не удастся, потому что такие следы не замечаются.

Лука думал, что они переглянутся, но они не переглянулись. Он подождал ещё немного, давая возможность, чтобы сказанное точно дошло до ума каждого. Не уходят, любопытство свойственно творческим натурам.

— Сейчас вы ознакомитесь с документами и артефактами, и перед вами откроется вся бездна... в общем, бездна перед вами откроется. Вы не случайно оказались в числе тех, к кому я решил обратиться со всем этим. Сами сказали — желаете спасти отечество, бить тревогу, и правильно, надо; вы хотите пасть в ноги государю, и я считаю, что надо пасть, только не с пустыми руками. И не в ноги. В том смысле, чтобы ваше обращение не осталось висеть в воздухе на пару секунд, как выдох кита полосатика, а возымело действие. Чтобы проблема была поражена в самое сердце, чтобы отравленное язвило, торчащее под сердцем отечества нашего, было, наконец, вырвано, яд выпущен из раны. Только тогда возможно, и наверняка, именно наверняка начнётся выздоровление. Видите, как трудно даётся мне складная речь, потому и прибегаю я к вашей помощи. Берите, знакомьтесь, ужасайтесь!

Костяной сейф с наклейкой, на которой читалось странное название «Пароль «Убю!»», открылся, три былинника наклонились над ним, осторожно, как ядовитые зубы водяного дракона, начали вынимать листки пергамента, свитки рыбьей кожи, запylённые флаконы, кривой кинжал, кинжал с прямым лезвием. Лука внимательно следил за тем, как нахмуренные мужчины проникают в тайну отечества, пропитываются ею, какие изменения происходят с ними. Было интересно, но было неясно, к чему всё это поведёт. Нет, настоящий художник никогда не сможет отказаться от такого материала!

— Ну, вы поняли, о чём речь!

Фока, державший в руках свиток, внимательно изучавший его, бросил взгляд исподлобья на возбуждённого, с трудом сдерживающегося Луку. А тот объяснял:

— Завтра, как только стемнеет, в тронной светлице у князя Добрыни соберётся много уважаемого народу, и от кормщиков, и от лукопасов, и дворовые, и родственники, мне хотелось, чтобы вы все трое явились туда, как явились ко мне — делегацией и тройственно заявили — вот зараза, вот болезнь! Вы былинники, самые авторитетные, вы единственные, кто владеет словом в Лукоморье, к кому прислушиваются. Гряньте в набат! Откройте глаза власти! Хотите, засядьде вместе за чернильницу, хотите, порознь корпите, но на исходе завтрашнего дня я вас жду. И помните, вы сами просили о встрече с Добрыней.

— А почему ты сам, паря, не отнесёшь Добрыне это всё? Глаза ему не отворишь? — спросил Фока.

— Такие вещи с глазу на глаз не делаются. Надо прилюдно грянуть, и надо, чтоб звучно и массово, жигануть глаголом, всем сёстрам по сердцам. Чтобы отступить было нельзя, чтоб замолчать это было нельзя! — объяснил Лука.

— Что это за нашлапка «Убю!», что означает? — с сомнением поинтересовался Андрей. Ему ответил Фока.

— Молодой ещё, не слышал. Говорят, так в детские годы у отца Добрыни была такая кличка. Пакостный был мальчишка, за кошками го-

нялся и за курами с таким криком. Пакостный мальчишка вырос в чумного правителя.

Лаврентий кивнул, подтверждая эти слова. Певцы молча встали.

Лука тоже встал.

— Вы что, не поверили?

— А если даже поверили, остаются вопросы, — сказал Лаврентий.

— Задавайте. — Лука приглашающе распахнул неширокие свои объятия.

— Ладно, ты не хочешь нам сказать, откуда у тебя эта шкатулка... — начал Фока.

— Да никакая это не тайна, — засмеялся Лука, — семейная реликвия. Матушка Лукерья полупокойница выдала мне заветный тайничок. Почему? А единомышленница. Не хочет, чтобы Горынька-муж из-за своей слепой преданности государю скрыл шкатулку от лучшей части общественности. Ну, теперь всё? По-моему, достаточнее, чем достаточно. Единственный вопрос, на который я вам сейчас ответа не дам: кто ножик держал в руках. Не из хитрости, или... Ну, в общем, я и сам не всё знаю до конца. Сам в страшных сомнениях и подозрениях. Так и пылаю. Видит море безбрежное, не могу не попробовать, не проткнуть покрывало. Кто за ним скрывается!? Смысл нашей высокотворческой провокации как раз в том и заключается, чтобы даже не проткнуть, а сорвать покрывало, а уж кого окончательная правда застанет в голом виде... Там будут все, и когда вы начнёте вещать, глаза откроются даже у слепых. Даже у верховного слепца, у Добрыни.

— А ты думаешь, что он так-таки ничего и не знает, даже не догадывается? — недоверчиво спросил Лаврентий.

— Я думал о нём и немало понял. Он уговорил себя, что не знает. Вернее, даже он уговорил себя, что ничего не было — был несчастный случай с ножиком. Папаша зарезался на радость всему Лукоморью. Дальнейшая жизнь всё затянула песком притворного благополучия, а внутри всё гнило.

— Ты очень хитроумен, Лука, а будешь ли ты доволен тем, что будет узнано завтра с помощью нашего пения? Ведь за этим занавесом может оказаться и... знаешь ли... — покачал головой Лаврентий, а двое других мрачно вздохнули.

— Пусть, старик, пусть! Это ведь как перед операцией — делать страшно, а не делать нельзя.

24.

Анчо по итогам своего шпионства сделал такой доклад: скрывается Конфузий, как и шепнул у дуба вместе с нерыболовной лодией, пялится долгими часами на Луну, думает так сильно, что даже воздух вокруг головы светится. Плавсредство укомплектовано, честь по чести зафрактовано. В тех местах, как известно, публика не шляется, ибо место нечистым считается.

Лука кивал во время рассказа своего помощника, а в голове параллельно прокручивал план завтрашнего дня. Слишком много надо было учесть, подумать о таком, о чём обычно не думаешь. Анчо давал гарантию — и в «Самобранке» и в «Кормиле» всё пройдет по плану, и сейчас уже идёт, не показывая ни малейших отклонений.

— Сало никто не найдёт? Даже случайной?

Дальше последовало обсуждение не очень понятного для непосвященных вопроса о том, достаточно ли разозлён брат Форти, тем, как ведёт себя фирма «Три хряка». Казалось бы, какое отношение к разворачивающимся в Лукоморье событиям это может иметь? А и тут всё было продумано, и хорошая подстраховочная линия обеспечена.

— Ладно, — сказал Лука, — всё в тайных кладях по дороге в Ужово, но на нас он ни в коем случае не подумает. Хорошо, теперь о главном. Слушай, Анчо Ус, меня внимательно. Речь пойдёт о моём отце. — Лука

потёр виски, потом надбровные дуги, тяжело вздохнула, выдохнула, то ли очень устал, то ли особо трудное принимал решение. — Горыня-боярин человек уже отходящего времени. Хватку совсем утратил. Кордоны его только что против такого слепого телка, как Конфузий, могут сработать. Любаву-то твои две ведьмы стерегут, иначе бы уже сбежала, правильно? Но хватка хваткой, а сидит в папаше моём одна стальная заноза, и давно уже шевелится, и давно бы он её вырвал, если бы знал, как ухватиться. (Анчо молча и внимательно кивал). Завтра ты засядешь к вечеру под дубом, дабы наш гений не оставался в опасном одиночестве. Я буду проводить большое заседание в тронной светлице. От тебя нужен будет самый толковый и верный человечек. Пусть будет Фань, который с круглым лицом. (Анчо кивнул). Он будет ждать моего сигнала, и будет такой эпический момент, когда ему надо незаметно шепнуть боярину Горыне на ухо, где он найдёт своего врага. Я имею в виду Конфузия. Сейчас его старые шпики без толку шляются по Лукоморью, ищут умника, и папа в большой досаде, что найти не могут. Так вот, когда папа узнает, где ОН, он туда кинется. Я уверен, что сам. Если кто-нибудь за ним увяжется, пусть Фань аккуратно не даст ему увязаться. И когда мой старикан будет на месте... Проследишь, чтобы всё было там как следует.

25.

- Здравствуй папа.
- Здравствуй, сын.
- К тебе я, папа.
- Ты по делу или соскучился?
- По делу.

Горыня обмахнулся платком, было от чего-то ему душно, хотя в палатах духота не стояла. Боярин обрадовался и старался это скрыть. Уж очень давно ему никак не удавалось поговорить с сыном, тот всё хитро уклонялся, отсмеивался, ускользал. А теперь вот сам. Торопясь, чтоб не упустить внезапную возможность, Горыня впопыхах начал с того, что подвернулось под язык.

— Ты мне дая начала ответь, сынок, зачем ты всех наших подёнщиков из Ужово в Лукоморье перевёл да в тайных местах расселил. Какие ты им задания понадавал? И чё творит твой Анчо?

— Имуществ у меня скопилось изрядно, присмотр надобен.

— У тебя, да твоих ли?

— У меня в управлении. А кто управляет, тот и за сохранность отвечает.

— Кто управляет, тот и использует.

— Бывает и такое, папа. Только я, ты поверь, не сам собой, а от большей воли действую.

— Да знаю я, что ты всего лишь шустрый побегушечник. И не стыдно тебе, первому после меня Змиевичу, за купчишкой этим неудачливым увиваться? Корень наш игнорируешь.

— Корень наш луковый, он мелкий, папа. Конфузий зрит в корень тот, что поглубже.

Горыня даже зашипел от неудовольствия.

— Что за парад бабий твой наставник взбивает на завтра?

— Да не взбивает. Не прихоть это. Дух времени. Бабий народ давно своего требует.

— Своего ли? Может — временное сучье своеволие? Выскочить хотят из своего места, а что дальше — неизвестно!

— Да нет, известно и не страшно. Сходят бабьей ратью к «Кормилу», договорятся с кормщиками, выйдет Сиклитинья, или как её там теперь — Фонема, на лодии, ни ей, ни гребцам не понравится, новшество само собой и закроется.

— Ой, сомневаюсь, сынок, Сиклитинья твоя как пробка в большой бутылки с дурью, вылетит пробка — и попрёт дуроломство. Уже маленькие девчушки играют кто в гребцов, кто в кормщиков.

— Да, не моя она, Сиклитинья.

— Терминатора твоего грех знаю. Глядит он в корень, да корень тот гнилой. Давно это мне понятно, да всё мне руки государь узлами слова данного спутывал. А я его сразу раскусил, Конфузия. Он только изображает, что он сын безумного семейства, ему ничего, кроме тихого размышления, не надобно. А в углу у себя сеть плетёт. Во всё вникает. Ты представляешь, даже до «Самобранки» добрался. Я отпускаю туда рыбку и хлебушек — надо сказать, всё труднее это делать, очень уж оскудела солёная казна княжества, — а ничего не доходит до голодных ртов. Кто-то перехватывает, перекупает по дороге и прячет. И рты голодные орать начинают. Сначала требуют еды, потом гордость в них рычать начинает.

Лука глядел на отца чуть исподлобья, и если присмотреться, во взгляде можно было бы прочесть что-то похожее на жалость. В самом ведь деле — утратил хватку старик, тычет, тычет словами, а всё мимо сути дела.

— Ты хочешь сказать, что Конфузий замыслил бунт?

— Чего там замыслил, уже начал. Страна наша неуклонно валится в выгребную яму смуты. Шустрят иноземчики мелкие, бабы требуют небабьего чего-то, голод оскаливается, хотя еды пока вдоволь. Все болтают, и болтают уже столько правды, что скоро городских крыш будет не видеть.

Горыня остановился, тяжело дыша.

— Ты знаешь, сколько я положил лет и сил, чтобы тихий порядок был у нас в Лукоморье, и как горько мне видеть, что всё идёт прахом. Могу я с этим смириться?! (Лука пожал плечами — тебе, мол, виднее). Я знаю, сынок, человек этот тебе замутил всю голову, и ты на всё смотришь его глазами. Молодые не верят старикам, и ты не веришь отцу, когда пове-ришь, поздно будет.

Лука поглядел на понурившегося старика, потом по сторонам на всякий случай — не видит ли кто.

— Да, папа, Конфузий для меня много значит, и я верю ему всецело, а тебе бы только побрюзжать. Ты устанавливал старые порядки, и тебе обидно, когда их меняют порядки новые.

— Если б только новые, а то дурацкие!

— Конфузий нам не только глаза открыл на неправду и правду, он сменил наш язык. А значит, и строй мыслей. А значит, и строй жизни начинает меняться. Мы становимся новым народом, не тупым, беспамятным, сытым, порядкобоязненным. Народ людей говорящих свободно. Без оскорбительной «Самобранки», без забитых подёнщиков. Это не может сделаться в один момент и без хотя бы одного дурацкого бабьего парада. Но на учителя ты не наговаривай всё же. Он сейчас ведь отошёл от дел.

Горыня захихикал, отвратительно ослабившись.

— Заварил кашу и отошёл от плиты, а ты, народ, хоть угорай.

— Нет, правда. Он сейчас даже не в городе.

— А где?

— Ну... скажем так, он на природе. Потянуло его в естественную жизнь, прочь от буйства городского безумия.

Горыня схватил сына за отвороты серого кафтанишки.

— Так он где? Где нора его? А, может, к китобоям утёк? Не-ет, скорее к салаводам, китобои и то жалуются, что к ним продукт от «Трёх хряков» пересалод поступать. — Горыня помотал головой. — Нет, ничего не пони-маю. Ты скажи, сынок, где его «естественная жизнь»!

Лука сделал вид, что стыдится случайной проговорки, очи долу, а по-том горе и носом шмыг-шмыг.

— Поня-ятно, — азартно протянул боярин, — то-то ни один соглядун мой не усматривает его в городской черте.

Горыня глубоко вздохнул, расправил плечи, в глазах завоились яркие змейки.

— Только прошу тебя, папа, не надо, не учини чего-нибудь резкого и бесповоротного, как ты иной раз...

— О чём это ты?! — Грозно и зычно зазвучал голос первого министра, почувствовавшего, что он, кажется, сейчас схватит ситуацию за талию.

— Очень тебя прошу! Ты всё узнаешь. Очень скоро. Завтра.

Горыне было приятно, что сын его молит. Ещё час назад боярин был уверен, что потерял наследника навсегда, а он вдруг сам к нему почти льнёт.

— Торгуешься? Чего тебе?

— Я тут по просьбе Конфузия был на съезде былинников, так вот они тоже очень волнуются, что непорядок в стране, и хотят своё слово донести до государя. Продуманное, конструктивное.

Боярин недоумённо посмотрел на сына.

— Чепуха какая-то. Рассмотрю и припомню, когда от этих болтунов было что-то конструктивное!

В глазах у молодого Змиевича на секунду проступила растерянность.

— Да, ты прав, батюшка, откуда им знать, как великие поприща проходятся. На самом деле тут другое чуть. Они последнее, я бы сказал, прощальное слово Терминатора хотят озвучить. Понимаешь, он красиво хочет расстаться с Лукоморьем и — куда-нибудь в широкошумные дубровы.

— Какие дубровы, сынок, о чём ты!

— Это так, поэтическое, фигура речи. Конфузий, опасаясь, что ему самому говорить не дадут, цапнут, как только он подойдёт ко дворцу — из-за Любавы — хочет проститься-объясниться. Слово к батюшке князю переслате с тремя самыми сладкозвучными певцами.

— Добрыня раздобыл не по-доброму, опух от чая и тоски смертной — держава в раздрае. Любава сидит у себя, не поймёшь, то ли её заперли, то ли сама заперлась. Вот ты мне объясни, Лучок, чем он её взял?

— Слова, слова, слова.

— И зачем батюшке какие-то песни! Представь, явится делегация твоих певунов придурковатых, за полрыбешки продажных... Двери дворца под замками по моей строгой воле!

— Знаю, знаю, батюшка, ты дозволяй их провести. В государстве революционная, можно сказать, ситуация, князю надежит править, а не тоской упиваться.

— Ну, ты ещё поучи князя княжить!

— Поучил бы, да боюсь, не в коня коньяк, — прошептал Лука.

— Что ты там бормочешь?

— Излагаю план спасения державы. Надобно в тронную светлицу собрать всех. Любаву выпустить из берестяного будуара, и начальника стражи позвать, и Микулу, и Устиньюшку, и дам придворных от сетей отвлечь. Ужовского старосту, выборных от кормщиков и гребцов...

— Да на что такой парад?!

— А потому что финал-апофеоз.

— Вот только не это!

— Нет, именно что это! Сладкоголосая троица пропоёт последнее прощальное слово Терминатора. С извинениями и пояснениями, мол, хотел, как лучше, а вышло плоховато. Задумывал счастье для народа, а получились свобода для урода и увоз губернаторской дочки, в смысле одурманенной княжны. Прощается он, всем своим людишкам завещает покорность и спокойное поведение.

Горыня полез в карман кафтана за платком и начал вытирать никогда не потеющий лоб.

— И кормщики возьмут плётки и разгонят девок по домам, мужики вернутся к вёслам, бабы к ухватам, подёнщиков стража аккуратно, но решительно сопроводит на прополку лука, ну, высечь придётся Быка и Антипа, так у них шкура на заднице толще китовой. И Любава поймёт, что её отрунули... В общем, всё она, папа, поймёт, сначала, конечно, в слёзы, но исключено, что и надолго, дня на два, а то и шесть.

— А мы пока порядок наведём, батюшку князя развеем, лучших чаёв выпьем. Склады конфузинские конфискуем.

Лука терпеливо кивал, а потом и добавил:

— А потом княжна поймёт-увидит, кто истинный спаситель, а беглого предателя и след простынет к тому времени... Папаша, я смотрю, ты тоже заразился лёгкой формой мимесиса. Ты министр, твоё дело — тишина в реальности, а не шумы воображения.

Горыня осёкся и на некоторое время задумался.

— Я вот только что себе думаю — а зачем всё так сложно? Зачем городить такой хитрый огород. Назвать его в тронную светлицу самого, Терминатора этого и там хапнуть.

— Долго ты меня слушал, да коротко понял. Я знаю, твоя любимая мысль — заманить Конфузия во дворец и там его обратять. Не советую. Как только станет известно, что он идёт в детинец с большим словом, за ним столько разного люду потянется. У ворот полнарода, и если узнают о твоём административном жесте... Даже договаривать не хочу.

Горыня облизнулся, ну совсем как удав.

— Да, нельзя.

26.

Частокол, огораживавший детинец, был болен цингой. Витамин надлежащего ремонта и ухода главной государственной оgrade дано уж не отпускался в достаточном количестве (зачем при столь благодушной жизни), брёвна расшатались, растрескались или подгнили, зато ворота, прежде не запиравшиеся никогда, были заперты и висели хоть и косо, но самоуверенно. Лука смотрел на эту картину со злобой, причём совершенно бессильной. Он находился в мезонинчике «Боян-Салона», сидел на корточках, положив локти на низенький подоконник, и грыз взглядом деревянную развалину. Казалось бы — ткни пальцем и развалится. И ведь эта внешняя обречённость дворцовой крепости абсолютно совпадала с метафизической предсмертностью старого Лукоморья. Одно-го сильного слова достаточно, чтобы из града сделаться праху. И вот в чём невыносимая отчаянность — некому это слово сказать. Только что от Анчо был доклад — былнинник Лаврентий схвачен на южной дороге за самыми дальними луковыми полями. Ну, утёк, и утёк перетрусивший старикан, не снёс наваленной на него гением революционной необходимости ноши. Это было бы ничего, если б это не была неприятность уже номер три. До того стало известно, что бодрый молодец Андрей решил сделать ход предательским конём — полез ночью через задний забор детинца, надо полагать, с верноподданническим доносом. Решил пожаловаться отцу на сына. При всей беззубости нынешней охраны нашёлся один не дремавший стражник и дал нарушителю тупым концом копья в тупой его лоб. Теперь лежит без сознания этот молодой патриот и недочеловек чести. Есть надежда, что до следующего утра не разговорится, и донос его не состоится. А самым первым огорчил Фока. Сказался больным. А до этого сделался таковым. Бьётся в реальной лихоманке дома среди грелок и лечебных пойл. К нему бегали лекаря и народные лукоморские от Луки, рот отпирали, заглядывали; и иноземные, знакомые Форти, те щупали пульс, накладывали стетоскоп. Были и соглядатаи от Анчо, затаивались в сенях, вынюхивали: от всех один вердикт — больным Фока не только сказался, но и оказался. Жар на нервной почве, мечется в койке, сдвинуться отказывается. Даже если его силой приволочь в тронную светлицу, будет не провокация, а фарс.

Ох, вы племя жидкое, канючное, не по делу тревожное и абсолютно ненадёжное! Кто строит на певце, тот строит на песке. Но это ладно, с этой публикой мы разберёмся, когда до места доберёмся, а сейчас-то что делать?!

Вечереет. Было отлично видно, как к детинцу по вытоптанной перед воротами пыльной площади сползаются пары лучших людей Лукоморья.

Условно стучат в калитку и входят внутрь. Если присмотреться, то в движениях заметно сомнение и неуверенность. Какими-то неясными предчувствиями полны даже самые элементарные души. Через час в «Самобранке» похмелившиеся Бык с Антипом потребуют к себе внимания, а к своим голодным собратьям человеческого отношения. Потом по особому сигналу бузьящая толпа двинется к намеченным лабазам, где многие получают не только сносную рыбу, но и короткую лекцию о том, кто им эту рыбу жертвует. Сиклитинья-Фонема будет в это время громить на диспуте закосневших кормщиков коромыслом своей логики, доводя до состояния реальной ярости и жажды рукоприкладства. Но вся эта тщательно взбитая пена гражданского возбуждения будет совершенно бессмысленна без того спектакля в тронной светлице. Кто мог подумать, что тройного запаса провокаторов не хватит!

Лука вскочил и спустился на первый этаж в светлицу. Никого! Ещё бы, все при деле. А это кто там в углу! Девка Машка, теперь кличут Терцина. Она тут для штабных нужд, сбегать куда, покликать кого. Она для такой роли очень даже годилась — быстрая, ловкая, бессомненная. Лука смотрел на неё, медленно соображая: может, послать её за кем-нибудь из бездарных былинников, раз подвели даровитые? Ермолай, Платоша, Петрило? Нет, нет времени, сейчас уже не проверишь, насколько бездари полезнее, чем таланты.

Терцина смотрит исподлобья, то есть неприязненно. Нет, не неприязненно, с обидой. Конечно, в такой праздничный день её заставили сидеть тут греть лавку. А она ведь сама зубастая, это Лука не раз про себя отмечал, и за спиной у рыжей предводительницы засиделась. А что если...

— А иди-ка ты сюда, Терцинушка.

27.

Схватывала на лету и на бегу. Сообщение, что шкатулка с редчайшим компроматом вручается ей прямо от Терминатора и он ждёт от неё гражданского и творческого подвига, ничуть дивчину не смутило и не удивило. Она как будто даже ждала, что её призовут для совершения подвига во имя правды. Молодые должны быть такими, сверх головы в себе уверенные. Чем она хуже Сиклитиньи?! Надо смелее выдвигать молодёжь, вот урок будущему правителю.

Боярский сынок ревниво постучал в заросшую зеленью медную петлю калитки. Внутри грюкнуло, задрезжалось — ой, вы, мои лукоморские запоры — калитка отвалилась, высунулась голова Микулы, он лично отвечал «за периметр». Нахмуренно осмотрел гостей.

— А говорили, придёшь с трёшкой.

— Обменял трёшку на целковый, — грубовато пошутил Лука и не совсем ловко хлопнул спутницу пониже спины. Было ему наитие, что надобно именно лёгкой пошлостью поощрить избранницу рока. Чуть не испортил всё дело. Терцина оскорблённо зашипела, видимо, искренне веря в равноправие полов в Лукоморье. Лука сделал вид, что она его неправильно поняла.

— Входи, вводи, — прогудел Микула.

Юная терминаторша решительно и даже как бы с вызовом вошла на территорию детинца.

— Придёт серенький Лучок и укусит за бочок, — оглянулся и негромко напел Лука и бросил взгляд на вечеряющий деревянный город. Он горел в лучах тонущего в море светила ладными срубам, поднимался фигурными уступами, в окнах из рыбьего пузыря догорала последняя заря уходящей эры.

Процесс всё-таки пошёл. У «Кормила» уже стоит женская рать с лозунгами, выражающими суть момента: «Рыба — она женского рода, женщина часть народа». В «Самобранке» одна лишь соль без рыбы, хлеба и лука. Бык и Антип тоже потрудились над наглядной агитацией: «Мы люди,

а не людишки!»), «Дайте нам долю, а не излишки!». Сольдаты, увидев, в каком участвуют невольном издевательства над народом, смутятся. Совесть парализует. А юркие подзуживатели Анчо начнут нешумные нашептывания — Добрыня, мол, совсем плох (в моральном, то есть, плане), заперся в детинце и трескает балыки, так что скоро поперёк себя треснет. «Господин не тот, кто за счёт народа кормится, а тот, кто народ кормит».

Микула, неприязненно поглядывавший в узкую спину Луки, следовавшего к крыльцу, вдруг высказался.

— А что это ты, младен, всё в сером да в сером, не мог на званный вечер к князю приодеться из уважения.

— У меня настолько больше серого вещества в мозгу, чем, например, у тебя, Микула, что...

Закончить мысль Луке не довелось, он увидел Любаву, она нервно курила на крыльце, специально выдыхая дым в недовольные физиономии приставленных к ней мамок. Она была, само собой, не похожа на себя прежнюю. Например, обычного презрения в свой адрес Лука не почувствовал, его место заняло более приемлемое для него чувство — ненависть. Любава, разумеется, догадалась, или, вернее, почуяла, что заперта она пусть и по приказу Горыни, да с согласия Добрыни, но главным образом по лукавому наущению этого мелкого, серенького, но такого неуязвимо негодяя в затёртом мундирчике. Лука, конечно, не подавая виду, упивался ситуацией. Поклонился княжне в пояс, втянул ноздрей запах гневного дыма, выброшенного ею из трепетных девичьих легких.

Окинув очень княжеским взором некрасивую, щуплую, остроносую, в суперскромное платье выруженную Терцинку, Любава хмыкнула.

— Это твой рупор эпохи?

Зря она так сделала. Если у простонародной карьеристки ещё имелись, может быть, какие-то моральные терзанища, то теперь она решила — конец вам, Не-китичи!

— Пошли, Любавушка, будет и интересно, и поучительно. Бычкой свою дымилку. Мамани, помогайте, — улыбнулся Лука какой-то особой, льняной улыбкой.

Далее Лука распоряжался так уверенно, что даже ни во что не посвященные сенные девки и прочие жители детинца охотно поверили в то, что распоряжаться так он вполне вправе.

Добрыня развалисто сидел на широкой лавке, покрытой ярким ковром. Поверх белой рубахи на нём был праздничный красный кафтан, могучие ноги в необъятных синих шароварах и соответствующего размера сафьяновых ботах были расставлены так широко, что будто бы показывали размер его княжеского всевластия. Горыня также украсилась — нацепил на левую часть серой и узкой груди орден в виде серебряной сельди, давным-давно полученный от государя, да не от нынешнего. От Добрыни он награды решительно отказывался брать, доходило до скандала, утверждал, что увешанный блестящими цацками он не сможет надёжно пребывать в полутьме, откуда удобнее всего вести порученную ему государём работу. И сейчас он сидел вдалеке от «трона», у самой двери, показывая, что в любую минуту готов выскочить с концерта по срочным государственным надобностям.

Лука, увидев серебро на папочке, просиял, не удержался. Отец выполнил тайное и страстное его желание и невольном поддержал придуманный сыном сюжет в одной из самых неустойчивых точек.

Любава грохнула входной дверью, прошла в дальний угол неприветливой тени, ни с кем не здороваясь. Добрыня только вздохнул ей вслед.

Микула, Устиныюшка, грандткачихи дворцовые, шефповарихи; три пары кормчих с жёнами, как представители хребётного сословия в лукоморском государстве, были приглашены с уважением. Пришло бы и больше, да у прочих видных кормщиков были дела в «Кормиле». Был и староста из Ужово, тоже с супругой да ещё и с помощником, тем самым

круголицы́м Фанем, о котором было договорено с Анчо. Кажется, и у него в подражание непосредственному начальнику начали пробиваться тёмные усишки. Ну, пусть. Верным слугам можно и дозволить кое-что, хотя Лука догадывался, что открытая черноусость русобородую общественность Лукоморья нервирует. Всему своё время, понадобится, и ксе-нофобство пойдёт в дело, а пока ему — тактический окорот.

Князь выглядел лучше, чем должен был, по представлениям Луки. Да, полнокровие, да ещё взбитое обильным утренним чаем, распирало его изнутри, заливая краснотой пятнистой лицо и шею, глаза светились не тоской или испугом, а всё же любопытством. Весь вид его говорил: ну, посмотрим!

Была не была. Лука шагнул на центр арены.

— А где сам то? — спросила хитрая Устиньюшка. По разговорам вокруг палат батюшки государя она поняла, что в тронной светлице состоится что-то вроде откровенного ристалища между властью и духовной оппозицией, представляемой самим учителем Конфузием. Лука, собственно, на обещание доставить пред ясны очи «самого» и выманил разрешение организовать такое представительное собрание.

— Да, когда он подойдёт? Мы-то уже здесь все, — без каприза, с одним лишь интересом в тоне спросил Добрыня.

— Подойдёт, — твёрдо сказал Лука, — но не сразу.

Гости переглядывались, Любава грызла, прищурившись, ногти, Горыня покачивался вперёд-назад — он уже начал учуивать, что его обводят вокруг чего-то, только пока не понимал, как.

— Учитель Конфузий опасается.

— Чего? — искренне развёл ручищами Добрыня.

— Что его схватят и в железа вменят. А он хотел, чтобы его сначала всё же выслушали.

— Так выслушаем, слово даю, — дал слово князь.

— Извини, батюшка-государь, твою благородную душу мы все знаем и почитаем, но есть тут поблизости силы, готовые действовать и поперёк твоих желаний.

— Что-о?!

— Нет, силы эти вроде как ищут в твою пользу и до такой степени, что позволяют себе иной раз и не считаться с душевными твоими предпочтениями.

Горыня встал, криво улыбаясь.

— Это он про меня, государь-батюшка.

Несколько секунд Добрыня пытался вникнуть в смысл происходящего, потом вник.

— Так ты что, отца обвиняешь в чёрном замысле? Да как ты смеешь?!

— А вот сейчас, государь, мы и увидим, почему я смею и какие есть у меня основания для смелости.

Лука взял за локоть Терцинку и подтолкнул к центру. Никто сначала даже и не понял, в чём дело. Кто такая, и для чего предъявлена? Ах, будет говорить? Ей Конфузий-Треминатор поручил? Почему ей? Ах, это отдельный длинный разговор, потом, если интересно, будет рассказано? Ну, ну.

— Давай, скули свою песню — ктхмыкнул Добрыня, ему уже становилось скучно. Уж так готовили его, мол, воля думающей части нации будет ему предъявлена, он даже дал себя обрядить в небывалые одёжи из уважения к возможной спасительной для государства идее или угрозе, что вдруг очертится в результате выступления. А тут даже не гигант мысли и даже не пугало — пигалица.

— Сначала, договоримся о терминах, — держа под мышкой накрытую тряпицей коробку, сказала Терцина.

— Само собой, — кивнул князь, — ты ж от Терминатора.

— Я не песню буду петь, батюшка-государь. Я детектив тебе расскажу, можно сказать, документальный.

— Что это ещё такое — детектив? — Добрыня нахмурился, не потому, что не любил насилие, а потому, что не знал слова «детектив».

— Это такая история, когда есть преступление, и даже пострадавшие есть, вплоть до убитых, а ничуть не известно, кто виновник.

Добрыня пошевелился так, как могла бы пошевелиться Пизанская башня.

— А зачем нам такое? Преступление есть, а кто преступник неизвестно? Это безобразие! Если есть преступление, надо сразу сказать — кто убил, чтобы люди знали, этого человека опасались и стражу позвали. Да и вообще, лучше бы без преступлений. Жили без них и дальше проживём. Может, и худоваты мы мозгами или привычками, да как-то обходились без преступности, и тюрьма у нас маленькая, и из наказаний главное — розги.

— Никак нельзя без преступления обойтись в данном случае, ибо оно — факт.

— Фа-акт? — На физиономии Добрыни появилось осконное выражение. Зачем нам такой факт?

— Конфузий открыл его и желает открыть тебе. И с доказательствами предъявить. А доказательства вот они в ящичке. Сейчас я их покажу и поясню. Детектив наш называется: «Пароль «Убю!».

Горыня на своём месте у входа быстро встал, а после быстро сел. По знаку Луки помощник ужовского старосты скользнул меж рядами сидящих и что-то стал нащёптывать ему на ухо.

— Что-то я не расслышал название. — Добрыня расслышал название, но звучащее слово слишком медленно проступало сквозь толщи добродушия в его в центр сознания. Пока ему стало всего лишь чуть тревожно и всё, и чтобы всё это прекратить, он попросил: — Ты, дочка, давай уж сразу, в чём факт и кто этот факт совершил.

Терцина только этого и ждала, даже не бросив взгляда в сторону куратора, то есть Луки, она протараторила:

— Во времена незапамятные был зарезан правитель Лукоморья, ваш батюшка, батюшка князь.

— Зарезан? (Да, тут надо напомнить, что собравшиеся если что и слышали об этой истории, так это официальную версию, а она гласила, что сам отец Добрыни сам по неосторожности пырнулся заморской, что ли, финкой ввиду порывистого характера. Такова была официальная версия. Но, как известно, официальные версии существуют для того, чтобы им не верить. А тут ещё немалые годы прошли, недоверие смешалось с забывчивостью).

Резкое напоминание оживило почти напрочь пересохшие колодцы памяти. И тут всё сообщество вполголоса заголосило:

— Зарезан? А кто зарезал?!

Терцинка очаровательно улыбнулась, обнажая не очень красивые, но очень острые зубы, и торжественно объявила:

— Дворецкий!

Все посмотрели на Микулу. Тот, держась за трясущийся жезл, пропищал, панически наморщив кожу на огромной голове:

— Я тогда был в школе юных подводников, мальчик я был, мальчик! Секунда молчания, и тут раздался голос Горыни.

— Я тогда был дворецким. Князь наш старый, заслуженные придворные помнят, был человек невыносимый и прямо вёл Лукоморье в пропасть. Какие приказы, какие порки, какие надругательства! Рыбодводство встало, страна в разоре. Был один способ избавиться от него отечество, и тогда я... я взял нож... что и сегодня, видимо, сделаю, — Горыня благодарно погладил по голове помощника ужовского старосты по голове, — я уничтожил зло, разъедавшее страну тогда, уничтожу и сегодня.

— Ты!!! — наконец выдавил из себя Добрыня. — Ты?!! Ах, ты гадина! Ах, ты змея чесночная!

В ответ на эту реплику раздался страшный, издевательский смех Любавы, некому было в этот момент задуматься, что за чувства ею руководили. Горыня, казалось бы полностью владевший собой, вдруг вспыхнул серым внутренним пламенем.

— Хочу напомнить тебе, батюшка-государь, — батюшка давился от гнева, и казалось, весь доселе выпитый им совместно с боярином чай хочет разом выйти из пределов его организма, — неблагодарность худший из грехов. А неблагодарность властвующих — их самая распространённая болезнь. Я думал, что ты её избежал, а ты...

Собравшиеся переглядывались, даже не перешёптываясь, Любава хохотала, хотя смех больше уже походил на кашель. Она смотрела в этот момент на Луку, он ей ласково улыбался.

— Гадина, змея, как ты мог! — бурно вздымая грудь, гремел Добрыня.

— А я тебе сейчас расскажу, как. — Горыня на несколько мгновений замер, зажмурился и сделал движение телом, как если бы он действительно был гадина и в этот момент решил сменить кожу. — Это ты меня попросил, батюшка князь. Нет, не приказал, но навёл на мысль. Подтолкнул к правильному решению. Почти прямо намекнул, помнишь то письмо? А потом всю жизнь делал вид, что неграмотен. И, главное, не удивился, когда это случилось, и первый поверил в самозакол. Это ж надо было дать себя убедить, что этот зверюга сам себя сладкой жизни лишит.

— Я? Я своего отца убить, я... Убийца ты и гадина!

— Убийца, да не гадина, а главный стражник отечества. И тогда кровь чёрную пролил отечества дая, и сегодня пролью, будь что будет. А ты стори от вины, неблагодарный.

Добрыня обвёл собравшихся налитыми кровящей глазами и вдруг зачем-то вспомнил о жанре представления.

— А где доказательства?

Терцинка тут как тут с коробочкой на вытянутых тонких ручках. И коробочка уже распахнута, и на свет появляется лоскут с буквами. Что он означал, к чему относился, так и не выяснилось в тот раз, потому что Добрыня заревел раненым китом, если бы кит умел реветь, и, свалившись с лавки, пополз куда-то в угол.

— Папа! — кинулась за ним Любава.

Горыня зло подмигнул своему сыну и тихо покинул представление.

28.

Опасливо запертые ворота распахнулись со скрипучими причитаниями, и целая свора парней с топориками и в заломленных шапках выскочила вон с территории детинца, хищно оглядываясь. Серым министром было предсказано, что встретят они у входа, может быть, даже немалую толпу, поэтому им следует действовать самым лихим нахрапом, не давая собравшемуся люду учинить бесчинство. Но на площади перед детинцем было пусто. Одна чья-то не уведённая на ночь коза. Горыня, мало что понимая, оглядывался, грея в рукаве новый исторический нож, а в сердце лелея идею справедливой расправы.

Город не явился к детинцу, но было понятно, что злонамеренности в нём, сколько угодно, хоть слева зачерпывай, хоть справа. Слышался какой-то разноголосый шум со стороны «Кормила». Стоящее на возвышении уважаемое здание было видно со всех точек города, распахнутые окна так и польхали. Шум тамошний был хоть и многочисленный, но какой-то стоячий, а вот справа шёл передвижной гуд. Можно было понять, что со стороны «Самобранки» идёт толпа. Над общим потоком недовольного гудения время от времени взлетали истерические крики-лозунги. Бык и Антип изрядно усвоили свою задачу и даже, надо думать, получали удовольствие от своего дирижёрского ража. Куда направлялась толпень? Знающий замысловатое устройство рыбного мегаполиса сказал бы, что к «новым лабазам». Густо складированное имущество способствует большому стечению народа в дни государственных волнений.

Старшой топорник, сын старого Петрилы, тоже уже немолодой Петрик, ждал приказа боярина — что делать дальше, он ещё ничего не знал о возведённых на него обвинениях и готов был подчиняться. Горыня велел ему вернуться за частокол да всё же быть в готовности к какому-нибудь нападению.

— А мы пока с Ванем прогуляемся в одно местечко, — пояснил боярин. И они, действительно, парой теней канули в ближайший тёмный переулок.

29.

В тронной светлице творилось такое... Никто почти не сидел. Почти все стояли, а Добрыня лежал в углу.

— Папа! — крикнула Любава, бросаясь к отцу, он лежал прямо на полу, даже не на половике, разворотив отвороты роскошного кафтана, огромная кудлатая голова перекатывалась справа налево, и из неё вырывались тяжёлые всхрипы и пугающий клёкот. Никогда никто из близких и прочих не слышивал от батюшки-князя таких звуков.

— Папа!!! — крикнул Лука вслед выбежавшему с решительным видом Горыне. Крикнул тоже с неожиданной для окружающих громкостью и во избежание сомнений, к кому относится крик, вытянул вслед своему старику серые рукава и бледные ладони. Это немного театральное, но очень звучное действие обратило внимание даже некоторых из тех, кто сгрудился над телом правителя.

— Я умолял его не делать этого. Он зарежет его! — Эти слова Лука обратил к Микуле и ушовскому старосте, к тем, кто стоял ближе всех. Няньки и мамки продолжали свою медицински бессмысленную паническую суету вокруг хрипящей гыбы умирающего барина, но многим интереснее было узнать, о чём это кричит сын сбежавшего боярина.

— Он зарежет Конфузия! — сообщил им, как бы пребывая в отчаянье, Лука. — Ну на это отреагировала даже Любава. Она стояла на коленях над сотрясающимся отцовским телом, почему-то уже со всклокоченными волосами, и косила безумным глазом в сторону Луки. — Ему кто-то рассказал, где скрывается Конфузий, он давно уже собирался, он давно уже... — Лука с трудом, но старательно изображал борение чувств, — а сейчас побежал. Я умолял его этого не делать.

Явился лекарь. Как это часто бывает, он был растерян больше всех прочих. Он склонился над князем, втыкая крохотное пенсне в переносицу, пытаясь овладеть кистью мощной лапы для поиска пульса. Любава вскочила и подлетела к Луке, во взгляде горел вопрос — куда?! Куда побежал этот псих? Ни она, ни прочие не сомневались, что боярин способен на убийство. Куда?! Лука понял — у Любавы с Терминатором было сговорено всё, кроме места. Лука почувствовал, с какой силой впились в его предплечье пальцы княжны. С ещё большей силой в него впивались её горящие очи. Лука делал вид, что у него перехвачено горло, на самом деле он выдерживал время, необходимое Горыне для того, чтобы он мог как можно дальше убежать от детинца. Ноги-то уже не те. Любава встряхнула его с неистовой силой — куда?! В этот момент Добрыня застонал, в сознании его как будто на мгновение произошло прояснение.

— Дочка!

Любава ринулась к отцу, рассчитывая, видимо, услышать последнее, может быть, слово, родителя. Добрыня разлепил пухлые губы, по лицу его текли потоки пота и, кажется, слёз, он отодвинул лекаря, вывернув ему мизинцем пенсне из переносицы, и прошептал:

— Горыня зарежет его, с самого начала хотел.

Лука мысленно аплодировал несостоявшемуся своему тестю за идеальный подыгрыш. Любава рванулась обратно, и на предплечье Луки появилось скорей всего ещё несколько синяков.

— Где?!

Теперь уже можно было сказать, и Лука сказал.

— У поганого дуба.

Любава уже кинулась было вон из светлицы, но Добрыня вдруг заревел так предсмертно, что уйти прямо сейчас не было никакой возможности. С криком «Папа! Папа!» дочка бросилась к отцу. И так продолжалось несколько раз. Стоило Любаве схватиться за ручку двери, как Добрыня рвал её криком к себе для последнего прощания.

Лука взял у стоявшей рядом Терцины шкатулку, аккуратно закрыл, обмотал холстиной, а затем подхватил под локоть саму увлечённую зрителем девушку. И отвёл в сторонку.

— Что теперь будет? — очень интересующимся взглядом сверля Луку, спросила Терцина.

— Бедняжка в состоянии трагического выбора: возлюбленный герой — или умирающий отец.

— Что же она выберет?

— Думаю, обморок. Ну, вот. — В очередной раз пытаюсь встать с колен над телом отца, Любава пошатнулась, вцепилась в свои уже порядочно взбитые космы и рухнула набок, поперёк тела своего батюшки, который уже почти перестал издавать какие бы то ни было звуки. — В особо острых, как свидетельствует мировая литература, случаях это кончается реальным безумием.

Молодая критикесса поглядывала то на шефа, то на умирающего, сочувствия к княжне она не испытывала. В светлицу протиснулся, осторожно поглядывая по сторонам, круглолицый Вань. Среди многоголосого гомона и разнообразной суеты они с Лукой сразу увидели друг друга, и сразу же поняли. Горыня добрался до места.

— Нам пора, — сказал Лука. Терцина схватила его за предплечье, почти совсем как давеча Любава. Она глядела на шефа изучающе. Хотела понять — берёт он её с собой или нет. Готова следовать туда, куда поведут, сверкал её острый взгляд.

— Если хочешь, — сказал он, задумчиво разглядывая её, ещё только принимая решение.

— Хочу! — сказала она с такой решительностью, что Лука понял, она догадывается о весомости оказанных ею ему услуг.

— Ладно. — Лука сделал жест помощнику ужовского старосты. Вань кивнул.

30.

Лукоморье входило в ночь, но явно не собиралось укладываться в постель. Лука на мгновение остановился, выйдя за калитку детинца, потянул носом, обвёл взглядом, стараясь представить себе состояние дел в городе. Сказать по правде, то, что он уловил, не слишком ему понравилось. Да, имели место два больших шумных сборища там, где и предполагалось по плану, в районе «Кормила» и «Самобранки», там кипели озёра устойчивого многоголосого шума. У «Кормила» он как бы расходился медленными кругами, а из района «Самобранки» тёк широким потоком вдоль набережной. Там совершалось разное мелкое безобразие, вроде переворачивания лотков, разгрома куч старой тары. Если бы только это, Лука был бы не просто доволен, но к тому же и спокоен, но в городе творилось ещё что-то. В довольно обширном пространстве между заведением богатых кормщиков и бесплатным домом народного разведения рыбы то там, то там мелькали факелы и группы факелов, там явно функционировали ещё какие-то группы не заночевавших граждан. Вышедших под покровом темноты для решения своих необъявленных задач. И чувствовалось, что это непредусмотренное ночное кипение нарастает. Вань, человек Анчо, тронул Луку за локоть.

— Пойдёмте сюда, — показал он в проход между двумя высокими заборами, обросшими понизу жёсткой крапивой и репейниками. Горыню он провёл путём более прямым.

— В обход? — искренне удивился Лука. — Зачем?

Добровольный проводник заметил, что так безопаснее. Лука хотел было возмутиться — что значит опасно? Для кого, для тайного куратора исторической ночи опасно?! Но тут справа, во дворе рядовой рыбацкой усадьбы раздался истерический крик, крик женщины, явно не участницы диспута о том, следует ли допускать представительниц женского пола для участия в путине. Кричащая то ли отбивалась от насильника, то ли отбивала у него своё имущество.

— Ладно, — подчинился Лука, и троица тихими тенями заскользила по извилистым улочкам ночного Лукоморья. Светила луна, прихваченные традиционным заморозком лужицы сверкали, как пенсне несчастного доктора, с ужасом понимающего, что он не в силах отвести удар, поразивший мозг князя Добрыни, и даже если он приведёт в сознание княжну, ей не станет от этого лучше.

Из-под ворот высовывались собачьи оскаленные рычащие пасти, издалека доносились то крепнущие, то скукоживающиеся общественные шумы. Дорогу несколько раз перебежали группы угрюмо ропщущих граждан с длинными палками в руках.

— Это вёсла, — объяснил Вань, лицо его было столь же кругло и равнодушно, как лик луны.

Они уже были совсем недалеко от южной окраины города, когда проводник вдруг замер и жестом велел всем спрятаться в тень высокого забора. Навстречу бежал какой-то молодой человек, кричал, что «больше не будет», а за ним тупо, перегарно дыша, несло человек пять-шесть вооружённых дубьём мужиков. Парень попытался завернуть за угол и оторваться, но там оказалась тупик. Беглеца настигли, он забился в угол, крест на крест прикрываясь худыми руками, а на него обрушился целый обвал разъярённой древесины вперемешку с матерщиной.

— Это... — сказала взволнованно Терцина.

Проводник прижал палец к губам, а потом сделал знак — все за мной! Пересекли последний огород, спугнули ворону с пугала, открыли бесшумную калитку в плетне из китовых костей, и сразу стал виден на небольшом отдалении за пустырём ориентир — не очень вроде и высокий, но чрезвычайно раздавшийся в стволе и развесистый дуб. Он красиво светился в лунном равнодушном огне, он был даже прекрасен своим независимо-отпугивающим видом.

Огибая кусты репейника, кучи вонючего пищевого и строительного мусора, оставляя за спиной в самых ближайших переулках вновь занимающиеся очаги мелких сражений, троица, немного пригибаясь, как показал проводник, чтобы не мелькать на фоне лунного неба, приблизилась к главному береговому растению. К городу дуб был обращён своей мрачной стороной, в которой чернело громадное дупло. В нём легко могло бы спрятаться несколько человек. С другой стороны из-под его широкого подножья, обнимавшего знатный кусок берега, уносилась к горизонту серебрящаяся дорожка, неуловимо переливаясь на мелкой-мелкой волне. Бежала куда-то в те загадочные места, где лежащая всё ещё в обмороке Любава предполагала обрести абсолютно чистое словесное счастье со своим Терминатором, которого двадцать минут назад должен был зарезать боярин Горыня, лидер охранителей Лукоморья.

— Папа! — осторожно позвал Лука и не успел даже как следует прислушаться, как раздался из-за дуба голос:

— Сюда!

Это не был голос Горыни. Анчо, понял Лука. Они двинулись на звук.

С той стороны дерева они нашли довольно обширную песчаную поляну под полуобнажёнными корнями громадного дерева. Посреди этой «бухты» стояла лодка, в лодке сидел Анчо, а в самом укромном месте, под корнями, горел небольшой костерок, свет которого никак было бы нельзя рассмотреть со стороны города.

— А здесь ничем и не пахнет, — сказал Лука, прыгивая на песок и оглядываясь в поисках отца.

— Да здесь уже лет сто никто не закапывает никаких селёдочных голов, — усмехнулся Анчо. Он был на удивление спокоен. Лука чувствовал, что его самого изнутри просто-таки сотрясает волнение, а этот как будто... Жадно хотелось спросить — ну, как, что? Где они?! А полезли совсем другие слова.

— Да, родовая память очень инерционная штука. Если уж что туда запало, так уж будет потом вонять и вонять... Лукоморцев сюда силком не затанешь.

Анчо не смотрел на хозяина. Он разглядывал свёрнутые в трубку стопки мятых бумажных листков, вроде как вырванных из какой-то книжки, а потом сложенных вместе и перевязанных бечёвкой. Развернул один свиток, наклонил к огню. Шевелил губами, кажется, читал по слогам.

— Что ты молчишь? — наконец не выдержал Лука. — Они были здесь?!

— Я, кажется, начинаю понимать, в чём тут дело. Дело вот в этих вот мятых бумажках.

— Мне плевать, что ты там понял, где мой отец?!

Круглолицый проводник подполз на четвереньках к Анчо и что-то быстро прошептал ему на ухо. Тот сокрушённо кивнул, не отрываясь, впрочем, от бумаг.

— Этого следовало ожидать. Я сам удивлялся, почему они так долго терпят. Ведь они сила. Простая, грубая, но сила. И, наконец, этой ночью они вышли.

Луку не держали ноги, его не слушался язык, и он решил сесть, чтобы сэкономить силы. Говорить стоя было трудно. Сел прямо на песок. Терцина села рядом, так, чтобы он мог на неё опереться.

— О чём вы там?! Где мой отец?!

Анчо посмотрел на Луку дланно и внимательно, насколько это позволяло подслеповатое дергающееся пламя утлого костерка.

— Они были здесь.

Лука замер, потом медленно наклонился вперёд, как бы говоря — ну? Анчо ответил так, словно речь шла о событии, случившемся в далёком прошлом.

— Что я могу сказать, наверно, это был честный поединок.

— Поединок? Что значит был?! Ты можешь говорить нормально?!

— Не мог же я допустить обычного скотского убийства. Всё же мы не мясники. И потом, они сами решили так. Мужчины. Они вышли на лодке... Терминатор и твой отец. Они сами так хотели. Здесь была ещё одна лодка. Они договорились, они вышли на ней прямо по этой лунной дорожке. Оба сели на вёсла. Очень красиво. Я думал, они схватятся сразу, но они сели на вёсла рядышком. Очень трогательно. Понимаю, им не нужен был свидетель. Было очень хорошо отсюда видно, хотя ушли они далеко... Гребли, гребли.

— Дальше что?

— Гребли, пока не исчезли из виду. Ты же знаешь, здесь сильное течение от берега по ночам. Я думаю, они в открытом море. Что с ними может случиться там, я не знаю. Будем надеяться, что твой отец вернётся. Кто-то будет надеяться, что вернётся Терминатор. Тогда мы будем думать, что делать с ним.

Бесстрастный тон Анчо бесил Луку, он начал понемногу овладевать собой, ему захотелось приподняться и каким-нибудь грубым физическим действием разорвать эту мучительную ситуацию. Он чувствовал, что опутан какой-то паутиной, правда неуловимо перемешалась с враньём, но прямо сейчас отделить одно от другого невозможно. Для начала надо было поставить на место этого наглого усача. Лука уже открыл рот, но тут на репейниковом пустыре между дубом и деревянным городом послышались голоса. Было такое впечатление, что бодрая запыхавшаяся

ся компания вылетела на загородный простор, чтобы поиграть в какую-то игру. Слышен был топот ног, угрожающие и отчаянные крики.

— Терцет, где ты, Терцет?!

— Я здесь, Катрен, давай сюда!

Вслед за этими вскриками неслись более приземлённые слова и бежали с угрожающим топотом люди, надо полагать, с занесённым оружием.

— Я тебе покажу, Катрен! Я тебе такой Катрен покажу!!!

Тут, кажется, Терцет, пробежавший совсем неподалёку от дуба, споткнулся, и на него посыпались, судя по звуку, вразумляющие вёсла. Хриплый взвизг рванулся вдоль берега.

— Терцетик, держись!

— Беги, Катрен, беги, их много!

— Да, нас много, мать твою! — плотоядно соглашались преследователи. И опять хрясть, хрясть дублёным деревом по молодым рёбрам. Терцина вскочила, но её одновременно цапнули за обе руки и Лука, и Анчо.

— Тихо!!!

— Мы всё равно не откажемся от своих имён, наши завоевания... — прошипела она, и ей зажали рот.

Длинный истошный стон донёсся с репейникового поля.

— Кажись, одним сонетом на Лукоморье стало меньше, — хмыкнул, впрочем грустно, Анчо и тут же получил от Терцины быструю пощёчину. Вань схватил девушку сзади за руки. В следующую секунду обменялись с Лукой мгновенными взглядами, и инцидент не получил продолжения. Усатый засунул свитки бумажек за пазуху и, потирая щёку, сказал:

— Ты сейчас о другом должен думать. В городе бунт. Настоящий. Гребцы взяли за вёсла, и когда это происходит на суше, картина страшная. Думаю, они уже штурмуют детинец. Я всё ждал, когда они начнут. Они начали.

Лука медленно, но всё же овладел собой. Не полностью. Терцина поглаживала его по предплечью, это вселяло в него силы.

— Но это же просто толпа, завтра встанет солнце, и они расползутся по избам, будут ещё прощенье просить. Добрыня к утру умрёт. Любава... рехнётся... Другой власти, кроме моей, в городе к утру не будет.

— Не так всё просто — у гребцов обязательно обнаружится вожак, гребной царь. Бык, Антип, да и кормщици попрячутся по дворам, а с этим надо будет что-то делать. И, сказать по правде, я пока ещё не готов тебе сказать свой план. Захотят они с нами договариваться или нет, может, просто перетопят или вёслами забудут. Имеет смысл короткая эмиграция хотя бы к китобоям. Там переждём. Терминатор, хоть и человек слова, а грамотно снарядил пирогу. Преговоры лучше вести с безопасного расстояния и не сидя в подклети с переломанными рёбрами.

— Посмотри, — сказала вдруг Терцина. Не только Лука, к которому она обращалась, но и все остальные посмотрели в сторону моря. И увидели все одно и то же. Одна за другой четыре огромных, не рыбацкого вида лодии пересекли лунную полосу на расстоянии всего каких-нибудь пяти кабельтовых от берега.

Лука вскочил и победоносно поднял руки.

— Это он, это он, я так и знал! В самый нужный момент!

Анчо с круглолицым помощником переглянулись.

— Кто «он»?!

— Фортин брат. Это Китобои пришли. Не мы к ним, а они к нам. Дорогое мое салбце, как ты выручаешь меня! Это Фортин брат, с ним, как я вижу, как минимум четыре капитана, завтра к утру в городе будет полнейший порядок.

Усатый и круглолицый снова переглянулись.

31.

Застолье называлось новым словом «фуршет», но ничем особенно не отличалось от пиров прежнего времени. Пирующие сидели за большим

столом, на столе центральное место занимал начищенный и раскалённый самовар, стояли закуски, в основном, рыбные — осетры цельнозачищенные, огромные супницы с ухой, икра, заливное и т. д. Помимо привычных жбанов с пивом, пузатые бутылки — ром, гостинец от ночных капитанов. Состав гостей был весьма смешанным. Среди уважаемых лукоморских граждан, державшихся, надо сказать, немного оглядливо, расположилось с полдюжины китобоев в форменных ярко-чёрных мундирах. Они, напротив, держались без всякой опаски, шумно, можно даже сказать, по-хозяйски. Не пили ни пива, ни тем более чаю, а прикладывались всё больше к пузатым заморским бутылкам, разговаривали громко, самоуверенно коверкая лукоморскую речь, и шумно радовались своим ошибкам. В общем, демонстрируя добродушие.

Во главе стола на лавке, которую в прежние времена занимал князь Добрыня, сидел Лука. Он вёл себя как человек, желающий казаться счастливым. Он сменил прикид с серого на красно-синий, отчего вид у него сделался немного опереточный. Да и сам режим, который ему позволили (не сразу, после унижительных для него совещаний среди китобоев) возглавлять, носил, надо признать, несколько надрывно-наигранный, театральный характер.

Справа от господина регента, так отныне звалась должность Луки, сидел брат Форти, тот, что страшной бунтарной ночью вошёл с флотилией в бухту и поутру навёл твёрдой китобойной дланью в городе полный, хотя и насильственный порядок. Сегодня он с большей частью своего «войска» отбывал восвояси. В честь чего и накрыли стол. Лука и радовался его отплытию, и побаивался. Фортин брат сразу сообщил Луке, отыскавшемуся под корнями дуба, что явился он, в общем-то, не для того, чтобы способствовать восшествию Луки на здешний бревенчатый престол. Операция носила экспедиторский характер. Надо было отыскать следы сала, без которого невозможна подготовка китобойных флотилий для выхода на воды. «Три хряка» клятвенно заверяли, что продукт упакован и отгружен. Приходилось склоняться к выводу, что сало затерялось где-то в кладезях Лукоморья.

Лука, сам, естественно, учинивший это временное исчезновение, мгновенно указал места скрытного хранения сала. Это дало ему возможность обвинить в злонамеренном перехвате оплаченного продукта якобы несоразмерно жадным семейством Не-китичей. Лука частенько между делом наговаривал своему подчинённому по лицензионной комиссии грамотею Форте на династию, они-де издревле не любят китобоев, потому что завидуют. Фортя брал и вставлял эти домыслы в свои послания к брату. Так что было отчего китобоев проникнутся к Луке доверием. Но проникся он не сразу. И с виду и повадкой претендент в правители китовому герцогу не глянулся. Мелок, щупл, угодлив, да и рода какого-то нечистого. Но поскольку князь Добрыня в результате апоплексического удара сам собой и навсегда удалился от дел, впав в кому, мало чем отличимую от смерти, а дочь его Любава заметно подвинулась рассудком, именно сын первого министра, как ни крути и как на него не плюй, более всего годился для роли наместника.

— Здоровье господина ренегата! — поднимал Фортин брат большой кубок, и все вскакивали с мест и помногу отпивали из своих менее размерных кубков. Высоченный китобой обнимал Луку за голову, лобызал своё обнимающее запястье. «Ренегат» выказывал полнейшую радость, понимая, что ничего другого ему не остаётся. Без полусотни крепких китобоев, что останутся вместе с двумя боевыми лодиями в гавани Лукоморья на постоянной основе, нет никакой надежды удержать жизнь в законных рамках. Да, гребцов разогнали по домам, многим сильно переломав вёсла, да, кормщики, хоть и без восторга, но дали присягу новому порядку, да, вздорные болтуны и болтуньи высечены и засажены за мелкую домашнюю работу, но кто знает, не польхнёт ли снова, если весёлые истребители кашалотов укатят по волнам восвояси. Впрочем, они

и сами не стремясь: контроль за поставами сала в современном мореходном мире — слишком важная вещь, чтобы передоверить его кому-то.

Antho, как-то в течение одного дня вспомнивший, что всё же, кажись, не Кириллица была его матерью, и полюбивший чёрный цвет больше всех лукоморских оттенков, сидел со своим верным Ванем на другом конце стола сбоку старого своего знакомого Форти. Они как бы составляли теперь его аккуратную свиту. Осторожно поддвигали ему рома в чайную чашу. Фортию оставляли в Лукоморье главным смотрящим по салу, при условии трезвого поведения, и он всячески старался продемонстрировать брату-конкистадору, что в руках у него чашка с маковыми цветами на боках. Но старший брат уже к вечеру отчалит, а Форти вспомнит, кто был первым его собутыльником, так рассуждал Ус. Лука, конечно, всё видел, только что он мог поделаться. Во-первых, он чувствовал какую-то мистическую зависимость от этого ловкого и таинственно-го человека. С отцом ведь история, даже будучи разъяснена Усом, так в общем-то и не разъяснилась. Вернее, Лука никак не мог принять сердцем это разъяснение. Оставалась капля какой-то тайны в самом сердце даже после всех слов. Во-вторых, у Луки, особенно на фоне длительного и непрестанного бражничества с китобоем и его капитанами, сама собой выпала из рук нить общего государственного распорядка. Порой, когда четыре капитана уносили бесчувственное тело «господина ренегата» домой из «Кормила», только Antho, сохраняя трезвость, мог отдать неотложные распоряжения. Поэтому и Микула, и старики из рыбнадзора, и староста из Ужово, и старейшины кормщиков очень скоро привыкли к такому положению дел. К тому же Ус не отдавал распоряжений безумных, а только дельные. Даже протрезвев, Лука никогда не находил достаточных оснований для их отмены. А Вань и возглавляемые им «новые шпионы» всячески поддерживали в лукоморском обществе мысль о том, что «ренегат пьёт, а усатый-то пашет».

Именно Вань извлёк из разных скрытых мест и Быка, и Антипа и Сиклитинью с парой её самых языкастых оторв. И посадил под замок в тюремный погреб, где уже томился выловленный в первый же день интервенции «гребной царь» Вавило. На его весле была самая настоящая кровь, он выбил дух из двух сонетных парнишек и вынес зубы одному из китобоев. Вооружённые гости требовали его выдачи, Лука был готов согласиться, да Ус отговорил от принятия быстрого решения. Дело положительное. Грех Вавилы перед лукоморским народом горше, чем перед гостями, и местные власти решат, что с ним делать. Народ, когда узнал о мнении Анчо, проникся к нему ещё большим уважением. Лука только рукой махнул, тем более, что она как всегда тряслась с перепою.

Княжна Любава половину дня проводила у постели отца, почти не подававшего признаков жизни. «Превратился в растение», — судачила дворня, те, что позлее, острили, намекая на громадность и бывшую мощь организма, что «батюшка дал дуба». Вечерами тихая, безумная Любава бродила по берегу, особенно вечерами, и подолгу стояла у того самого дуба, откуда ушла, возможно, в вечность, ладья с двумя незаурядными лукоморскими мужами для того, чтобы схватиться в бескомпромиссном поединке. Лунная дорожка пролегла именно там, где довелось ей пролегать в ту страшную мятежную ночь. Самые злые языки комментировали поведение несчастной в том смысле, что вояжирует княжна от дуба и до дуба.

Эти визиты к дубу в полнолуние нервировали и Луку, и начальника его стражи. Но запретить этот сам собою сложившийся ритуал они не решились — большинство народа глядит на вечернюю деву почти что с умилением. Там же, в народе, зародилось и поэтическое наименование для неё — «Бредущая по волнам». Даже Antho должен был признать, что довольно похоже, если учесть эту лунную волнующуюся дорожку в никуда. У народа, сказал он Луке, должны быть идеалы и легенды, а чем Любава наша не мученица и не легендарная личность? Пусть умиляются,

так им легче будет смириться с новыми порядками. А чтобы она не вздумала в один ужасный момент поселиться прямо в дубе, он велел Ваню наглухо заделать цементом дупло. Впрочем, это никак не повлияло на рост популярности Любавы. И берег у дуба стал местом популярных народных гуляний. Выходили семьями, под ручку гребцы с супругами, приглашали иностранцев посмотреть, как красиво высится на краю лунной дорожки одинокая фигура со сложенными на груди руками. На детские вопросы «Когда вернётся Конфузий?», вон ведь тётенька просит, взрослые отвечали старинной лукоморской поговоркой: «Когда рыба скажет». Но поведение свихнувшейся княжны «господина ренегата» занимало не так уж сильно. В просветах между тяжкими китобойными гулянками он всё пытался дознаться, где Терцина? Всеведущий помощник только прикладывал палец к губам — тайна, мол. Он отлично видел, что серый правитель очень увлётся девчонкой, чего от него никак нельзя было ожидать.

Рыбный промысел в Лукоморье, конечно, не угас. Наоборот, ему был дан сильный положительный толчок с помощью самых современных технологий. По совету Antho комиссия в «Боян-Салоне» была расформирована, да и сам союз былинников упразднён. Решили последовать опыту более прогрессивных соседей. На каждую лодию поставили по маленькому патефону в водонепроницаемом кожухе, и теперь в самые угрюмые часы сидения в ночном море сам кормщик ставил наиболее подходящую пластинку. Большой шаг по пути прогресса, да и ликвидация почвы для будущих уморужений.

Былинники, лишившиеся работы, бунтовать и не подумали. Начали искать себе новую работу. Лаврентий прижился сторожем на самых дальних огородах. Фока устроился гребцом, да почти сразу, как рассказывали, ему не повезло, и он незаметно для товарищей канул за борт. Андрей, как ни странно, прибил к усатому, пошёл в помощники на подшивку и анализ шпионских докладов. «Хоть какая-то польза отечеству», — любил говаривать он. Иные из былинников, те, что поничтожнее, зарыли свои лицензии и постепенно прибились к «Самобранке», правда, составили там самый маргинальный, презираемый отряд. Иногда в порыве понятного раздражения, неудовлетворённости жизнью местные едоки полюбили обвинять их во всех неурядицах жизни, безобразиях властей и главное — в падении нравов. А нравы всё же пали. Дурацкие имена времён Терминатора были, конечно же, отброшены, а вот молодёжное злоязычие, непочтительность к старшим, уличная развязность остались в изобилии.

— Где Терцинка? — чуть ли ни поминутно интересовался Лука у Анчо. Эта тема занимала его не меньше, чем размышления над участью отца.

— Как можно, — делал страшные глаза безусый помощник, — всем же известно, и Микуле и Устиньюшке, да и старосте из Ужово, что это именно девка Терцина, говоря откровенно, убила своим страшным разоблачительным расследованием законного нашего государя князя Добрыню. Или почти убила. Нигде за такие дела по головке не глядят.

— Но ты же знаешь, что она не сама, и она виновата меньше всех!

— А кто тогда виноват, если не она? — с убийственной наивностью интересовался Antho.

— Ну, этот. Ты знаешь, Терминатор Конфузий. Он навёл, подsunул коробку с письмом и ножиком, — морщился Лука, прекрасно осознавая, что помощнику отлично известна реальная история события, и страшно злясь из-за этого.

— Вот если бы мы могли поймать Терминатора и он бы дал показания перед судом, тогда Терцина пошла бы всего лишь соучастницей, мелким исполнителем. А так она главное обвиняемое лицо, и даже по требованию «господина ренегата» я не могу доставить её во дворец. Её сразу же придётся казнить.

Лука размазывал по лицу липкие похмельные слёзы. С приходом к власти он сделался чувствителен, чаще бывает наоборот.

— Она хоть жива?

Antho уверенно кивал — жива, и обещал, что пока она под его защитой, с ней ничего не случится.

32.

Терцина была жива, начальник стражи не обманывал, и даже находилась не слишком далеко от того места, где Лука скучал по ней. Antho, взявший себе ставку в «Боян-Салоне», держал её там под секретным арестом. Заведение охранялось лучше, чем княжеский дворец, который никто не собирался даже подремонтировать. Денег не было, большая часть уходила на содержание китобоев, присматривавших за тем, чтобы поставки сала от «Трёх хряков» оставались бесперебойными.

Жизнь в Лукоморье всё более налаживалась. В том смысле, что налоги выплачивались регулярно. Отменив процедуру выдачи лицензий, начальник стражи не прогадал, он постановил брать деньги за обслуживание бортовых патефонов и учредил в «Салоне» отделение фирмы «Сингер», от заграничного слова «синг» — «петь». Особых возражений это не вызвало. Немного напрягал поначалу рыбарей репертуар — пластинки усатый доставал по дешёвке, через давние знакомства в «цыганской» среде. Это был или контрафакт из столицы китобоев, списанные заезженные диски, взятые оптом у владельцев музыкальных автоматов из тамошних баров. Но делать было нечего, когда долго сидишь в полной темноте и ждёшь косяка, то и всяким пискам, взвизгам и непонятым прононсам и руладам будешь рад. Правда, стало заметно, что характер рыбаков сделался угрюмее, и по возвращении на берег они стали больше, чем обычно, налегать не только на местное пиво, но иной раз прикладывались к контрабандному товару, рому китобойскому, о чём раньше и слыхано не было. Этот факт заставил главного стражника задуматься. Сам «господин ренегат» — с определённого момента его так уже стали звать официально — хлещет ром, это ладно, а вот с растущей привычкой к крепкому напитку среди рыбарей надо было что-то делать. Он издал за подписью Луки страшный указ о запрете рома и организовал тайную его доставку. Цена на напиток выросла, Вань умело собирал с этой ситуации финансовую жатву. Если народ спивается, то пусть хотя бы с пользой для кого-то.

— Ну что мне с тобой делать? — спрашивал иногда вечерами Antho у Терцинки, когда её, связанную, приводили ему из глухой, но довольно комфортабельной подклети. Она молча и упорно смотрела на него, в глазах светился неслышимый характер.

— Ты бы хоть имя вернула прежнее. Сестричка твоя Цитата, опять Наташка, замуж выходит, за хорошего гребца. Ему во время бунта только пару зубов выбили, полное прощение вот-вот выбьем. Даже Сиклитинья одумалась. Правда, после пяти, кажется, порок, отринула свою Фонему.

— Предательница! — прошипела Терцина.

— А Триолеты все, Анапесты и порок ожидать не стали, мгновенное просветление в мозгах.

— А ты сам-то как теперь пишешься, разве по-старому?

— Как ты не понимаешь, это же совершенно разные коленкоры. Вами руководила дурь революционно-поэтическая, а моя смена азбуки — сугубо практическое решение в духе нашего трезвого, реалистического времени.

— Не-ет, мы разбиты, но не уничтожены. Конфузий как-то просто обмолвился, а я запомнила навсегда — поэзия это наше видовое назначение. Не государственный порядок, не сбережение народа, не прогресс ваш грамофонный, а одухотворение материи красотой.

Такие разговоры велись между ними часто, каждый раз усатый отсылал упёртую девку в состоянии сильнейшей ярости. Однажды, когда разговор разбередил его сверх обычной ярости, он полез в сейф и достал

оттуда две пачки листов. Тех самых, что он нашёл тогда в лодке Терминатора. И стал трясти ими перед непреклонной физиономией Терцины:

— Знаешь, что это такое? Конфузий ваш беспутный работал с фирмой «Три хряка». Они присылали к нам два пуда сала в неделю. По условиям поставки должны были каждые полфунта фасовать в отдельную упаковку. Обычно это был лист бумаги. И, видно, в какой-то момент обычной бумаги под рукой не оказалось, в дело пошла книжка, как я понимаю, словарь поэтических терминов. Конфузий развернул один из брикетов, вчитался от лени, сошёл с ума на терминологической почве и стал Терминатором. (Терцина молчала и смотрела на него ненавидящим взглядом). Да ты сама проверь, почитай, не умеешь? Так на этом всё и строилось. У нас малограмотное население. Поэтому получился такой сильный удар по мозгам. Не веришь? Смотри, вот наугад беру: «Идиома» — «от греческого особенность, своеобразие, это неразложимое словосочетание, которое не может быть переведено на другой язык без нарушения смысла». Помнишь, у вас была одна такая Идиома, хохотала ещё, как идиотка, теперь опять Маруськой зовётся. Или вот — «Архаизм»... (Терцина яростно дёрнулась, но была крепко привязана к стулу, как и всегда во время дружеской беседы. Antho усмехнулся). Но это ещё не всё. Когда Терминатор ваш развернулся, взбаламутил головы, послал вас щёлкать челюстями на каждую несчастную песенку, приехали «Три хряка», Лука от них откупился, в знак благодарности они ему выдали большую бутылку, он тогда совсем не пил, так вот в бутылке имелась затычка. Тоже из свернутых листочков. Странно, надо сказать, они там у себя среди бескрайних свиной обращаются с книгами. Оказалось, что на эту затычку пошли страницы из какого-то не литературоведческого, а философского словаря. Вот смотри — «Трансцендентальный», что это такое? Когда Терминатор объяснил Любаве, про что тут речь да чем «Трансцендентальный» отличается от «Трансцендентного», голова у неё и поехала. Да и у него тоже. Он же был человек искренний. Верил в то, что говорил, в чём была его сила. Он даже верил в слияние с «Абсолютом» и Любаву убедил, что слиться придётся.

Ус встал и в задумчивости прошёлся вокруг стола, за которым происходила его беседа с неукротимой террористкой.

— Это ведь смешно и жутко подумать, из какого сора может вырасти древо законченного мировоззрения. Ну, надеюсь, теперь ты, умненькая девочка, поняла, что всё твоё упорство совершается во имя абсолютной чепухи, каких-то просаленных бумажек, а пророк твой — просто восторженный недоумок.

Оратор не остерёгся, Терцина рванулась в сторону, повалила стул и в падении успела цапнуть Анчо за кисть руки повыше мизинца. До крови. Он зашипел, отскочил. На этот шум мгновенно явился Вань.

— Надень ей уздечку, чтобы зубами не разбрасывалась.

Заранее приготовленное устройство принесли. Нацепили. Antho, заливая рану, сказал:

— Ты думаешь, я не знаю, как тебя зовут? Машка. — Он осторожно взял за край плотно стягивающую челюсти девушки железную цепочку, дёрнул её и засмеялся. — Ты будешь железная, Машка.

Когда её увели, круглолицый, вытирая шею и лоб платком, спросил:

— Скажи, хозяин, а почему ты не захотел отдать её серому?

— Она очень неглупая и наблюдательная. Хорошо, что порывистая — проговорилась. Она сразу заметила, что никакой второй лодки там под дубом в ту ночь не было. Никаких следов второй лодки. Значит, ни Терминатор, ни Горыня никуда не уплывали, сделала она правильный вывод. Как бы повёл себя Лука, когда бы узнал, что я зарезал не только Конфузия, но и его собственного отца? Ты, кстати, давно был у дуба, запах там не начал сквозь цемент просачиваться?

Вань отрицательно покачал головой. Начальник стражи криво усмехнулся.

— Неплохо я отдупиался.

— Да, хозяин, там всё надёжно, но держать здесь девушку всё равно опасно. Рано или поздно она сбежит.

— Я не душегуб. И кроме того... — Раздался стук в ворота «Боян-Салона», так могли стучать только очень солидные люди. — Иди узнай, кто там. — Когда помощник вышел, Antho добавил тихо: — А кроме того, она мне нравится. И мне хочется её переубедить.

Гости оказались и в самом деле очень серьёзными людьми. Они сделали Анчо, о котором уже пошёл слух, как о самом деловом и разумном человеке в Лукоморье, предложение, выгоднейшее предложение. Фирма «Рус-Алко» желала бы выйти на лукоморский рынок с целой коллекцией высококлассных крепких напитков, значительно более подходящих для желудков и менталитета местных рыбаков.

— Чистейший дистиллят, никакой перегонки.

— Но у нас полусухой закон.

— Который никто не соблюдает, — засмеялись дельцы. — Опыт всех прогрессивных стран доказал, что ни к чему хорошему упорство в этом деле не приводит. Народ всё равно пьёт, но ещё и развивает в себе психологию преступника.

Очень быстро, за неделю была проведена широкая, открытая с привлечением всех заинтересованных общественных сил дискуссия о том, нужен ли Лукоморью сухой закон. Подавляющее количество высказавшихся заявило — не нужен. Antho выступил с предложением его отменить, причём сделал так, что заметно нетрезвый Лука на широких слушаньях демагогически лепетал что-то о здоровье нации, так что выглядел в глазах лукоморских мужиков двоедушным ничтожеством.

Но мы не бросимся в объятия алкогольным гигантам нашего могучего соседа, мы пойдём своим алкогольным путём и станем пить не ром, а напиток оригинальный, отечественный. Под это дело начальник стражи даже решил вернуть своё имя на территорию родной кириллицы и стал опять простым Анчо. Через несколько дней в наиболее популярных местах города висела реклама нового торгового гиганта. Вертикальный овал в виде толстой золотой цепи с вписанными внутрь серебряными буквами «Рус-Алко». Самое большое и яркое рекламное панно было водружено на знаменитом лукоморском дубе и выполняло оно, кроме коммерческой, ещё и декоративную роль — закрывало цементную пломбу на теле исторического гиганта.

33.

— Тебе бы надо жениться, господин ренегат.

Лука сидел у себя в светлице с большой кружкой рассола в неуверенных руках. Бодрый, справный Анчо прохаживался по замызганным половикам, поглаживал подбородок, наверно раздумывая, отпустить ему ещё и бородку или не стоит.

— Где Терцинка? — тихо спрашивает правитель.

— Сколько можно объяснять, дорогуша, даже если бы я знал, где она, то доставить сюда к тебе я не мог бы, потому что как начальник твоей охраны должен был бы немедленно её схватить, как верховный судья — осудить, и как палач — казнить.

— Ты теперь и палач?! — удивился Лука, хотя казалось, он утратил способность удивляться.

— Почётный. Разумеется, для реальных порубок будем искать подходящего рукастого хама.

— Я хочу жениться на Терцинке, — грустно и тихо говорил Лука и осторожно отхлебывал рассол. — На другой не буду.

— Тебе нельзя оставаться неженатиком. Народ дивится, и сомнениями головы пухнут — мол, власть какая-то неосновательная.

— Плевать мне, что они там болтают.

— Тебе плевать, мне нет. Ты не хочешь думать о своём троне, я буду думать. Но тогда уж изволь слушать, что я надумал.

— Ты и невесту мне подобрал? — хихикнул Лука. Тот не обратил никакого внимания на ренегатский юмор.

— Конечно. Несерьёзно было бы с моей стороны являться сюда с абстрактными размышлениями. С этой заразой у нас покончено, надеюсь, надолго. Так вот, взвесив всё за и против, я решил, что умнее всего тебе было бы взять жену из ближнего своего окружения.

— Устиньюшку? — опять хихикнул Лука.

— Нет, — оставаясь абсолютно серьёзным, сказал Анчо. Учитывая тот факт, что принцессу ни из какого солидного рода тебе в жёны не дадут — наводили справки, да зря время теряли, и так было ясно — а жена нужна не с улицы, из круга верных людей, предлагаю и настоятельно советую взять в жёны мою сестру.

Лука выпучил глаза на своего начальника стражи, тот смотрел на него, как ни в чём не бывало, как будто не сказал ничего особенного.

— Я видел её, — с непонятным оттенком в голосе сказал Лука.

— Вот и отлично.

— Ничего отличного, у неё же... — Господин ренегат провёл дрожащим указательным пальцем у себя под носом.

— Что тебя смутило? Да, у неё, как у всех женщин нашего морского племени, имеется растительность на верхней губе. Есть очень хорошие способы борьбы с этой особенностью, если она раздражает. До совершеннолетия усы вырывает отец или брат, после замужества эта обязанность, или, вернее сказать, право, переходит к законному мужу. Поверь, крики, которые издаются девушкой во время актов эпиляции, несут в себе гигантский сексуальный заряд...

— Нет! — взвизгнул Лука, отставил кружку и отвернулся к окну.

Анчо, видимо, ждал, что первая реакция будет именно такой. Он сел рядом с Лукой, похлопал его по плечу.

— Тут ещё какая проблема. Твой отец.

— При чём здесь отец!?

— Вань докладывает мне, что ему докладывают, будто народ лукоморский на тебя начинает подумывать.

— Что подумывать?!

— Говорят, что будто это ты папашу своего подвёл под таинственную гибель. Он так давно плавает, что, конечно же, все говорят, с голоду и жажды помер.

— Ты же знаешь, я не хотел смерти отца, я хотел только его устранить — максимум домашний арест за преступление давнишней давности.

Анчо кивал с лёгкой иронической ухмылкой.

— Твои слова о том, что Горыня устарел, что ему пора уходить, можно было понять, как...

— Постой, так значит...

— Ничего не значит. Вернее, Вань докладывает, что в народе откуда-то стало известно о таких твоих мнениях накануне события.

— Как это могло стать известно, если только ты да я...

— Мистика, господин ренегат, её ещё много в нашей жизни, а потом и у стен бывают уши.

— Скажи мне правду, негодяй... Кто его убил?

— В народе говорят на тебя. И знаешь, чем аргументируют? Говорят, что это старая лукоморская традиция. Все хотят убить отца.

— Я не хотел!

— Добрыня хотел, и ты хотел, ну, устранить от дел, хотя на определённом уровне это всегда подразумевает физическое устранение. Так вот, очень скоро мне будет трудно тебя прикрывать. Только если ты станешь моим родственником...

— Нет!!! — громко, но и как-то бессильно крикнул Лука. Анчо собрался наехать на него с новой тачкой аргументов, когда вдруг в светлицу поскребся Вань. Начальник стражи отнёсся к его появлению с вниманием — этот человек мешал только тогда, когда по-другому было нельзя.

— Что там?

Круглолицый, кажется, был смущён, Анчо первый раз в жизни видел его смущённым. Вань сообщил, что собравшиеся в «Кормиле» кормщики единогласно отказались платить новый налог и требуют возвращения к старому, добрынинскому налогу.

— Иди скажи, я сейчас наведаюсь к ним. Поговорим. — Вань исчез. Анчо снова подсел к Луке. — Итак, свадьбу мы назначим прямо на сегодня. Зачем изводить тебя длительными предвкусениями.

Лука издал тусклый вопль и отчаянно замотал головой.

— Только Терцина, и пусть нас казнят вместе!

Анчо не успел ответить, теперь в светлицу заглядывал Микула.

— Тебе что?!

— Известие поступило от дворецкого неприятное. Любава, которая в данный час должна была как раз скулить на луну у дуба, осталась у постели отца, и в её присутствии нет никакой возможности отключить дряхлое растение от системы жизнеобеспечения.

— Ладно, иди, я сейчас.

— Никакой твоей усатой сестры, только Терцина! — крикнул от окна Лука, а Микула зашептал на ухо господину начальнику стражи, что у него есть и ещё сообщения. Пришло письмо от фирмы «Три борова», они перекупили бизнес «Трёх хряков» и теперь прерывают коммерческие отношения с домом Не-китичей и будут поставлять сало напрямую в Угрюм-страну.

Прибежал запыхавшийся Вань с выпученными глазами и сообщил, что китобой грузятся на свои чёрные боевые лодии и прямо сейчас начинается отплытие. Без прощального фуршета и неперменных драк. Это известие, надо сказать, поставило Анчо в тупик. Он замер, пытаясь сообразить, что к чему и как теперь поступать. С улицы послышался какой-то шум, крики.

— Что это ещё!? — гневно поинтересовался начальник стражи, но к гневу в голосе его подмешалось изрядное количество тревоги. Он вышел, бросив напоследок злой взгляд в сторону Луки. Тот крикнул ему что-то вслед, разобрать можно было только слово «Терцина».

По дороге к воротам детинца Микула успел ещё сообщить, что лужовский староста прислал известие, что теперь вполовину урезает поставки своей продукции в княжеские лабазы, а цену на них, напротив, желает увеличить вдвое.

— Ну, это мы быстро вправим мозги. Вань, займись прямо сейчас.

Верный помощник хотел было сообщить, что все его люди в Ужове связаны и в погребца чесночные посажены — только что пришло известие от одного случайно спасшегося «цыгана». Но тут распахнулись ворота и Анчо увидел картину: гора патефонов на пыльной земле. И гора всё высится, бегут к детинцу мужики и хлопцы с патефонами в руках, в воздухе летают, как ласточки, запускаемые озорными руками пластинки.

— Ладно, — Анчо повернулся к Ваню, — прекрати это, собери всех людей сюда во двор, запри ворота, а я сейчас.

Начальник стражи рванул обратно. Он ещё не знал, что именно будет делать. Надо добраться до Луки и заставить его выйти к людишкам...

Вбежав в светлицу, Анчо не сразу сообразил, что произошло, да и мудрено было сообразить. На своей обычной лавке сидел, зевая, Добрыня в потном белье со встрёпанными кудрями и огромной бородецей. Он поводил сонными, припухшими глазами туда-сюда. У правой его ноги, обнимая её за мощную щиколотку, лежал на голом полу Лука, у левой бились в пароксизме домостроевского счастья Устиньюшка и ещё несколько дворцовых тёток. Любава возвышалась, как строгий ангел немедленной мести, у правого плеча отца, чудесным образом вышедшего из комы и сразу — на вершину власти и всеобщего обожания. Вернувшийся в светлицу Микула, увидев картину, заревел белугой, рухнул на пол и пополз на толстых коленях к отцу родному, не выпуская из рук

жезл, которым задирали и комкал грязный половик. Все на разные голоса радовались такой великой радости, тут же сообщали князю все новости, что случились за время его глубокого сна, пытались попутно и торопливо оболгать друг друга, сыпали доносами и жалобами. Но, в основном, царил всё же радость и огромное облегчение.

Добрыня слушал то тех, кто валялся слева от него, то тех, кто пластался справа, потом пластавшихся прямо перед ним, зевал в гигантскую ладонь, приятно хлопал мощными веками и говорил благодушным басом:

— Ничего не помню.

34.

Все хорошо, что хорошо кончается. Именно после этого удивительно-го и столь своевременного выздоровления Добрыни и появилась в Лукоморье сия мудрая поговорка. Причём и выздоровление было не полным. Память свою Добрыня весьма и весьма отлежал в коме. Ему пришлось напоминать самые простые вещи. Дочку он признал почти сразу. И это многое упростило в деле восстановления прежнего порядка в голове правителя, если только, конечно, не принимать во внимание, что сама Любава была не всегда и не полностью в себе.

Большого следствия по итогам последних событий в Лукоморье Добрыня учредить не стал. Даже главного негодника Анчо Уса не схватили. Объяснялось это тем, что уж больно он мелок, забился в какую-нибудь щёлку, а то и утёк в ближайшую за границу, благо сети государственных служб изветшали за последнее время до крайней степени. Им и тайменя было не уловить, не то что такую мелкую рыбёшку.

Луку сослали на огороды в Ужово, дабы он там присматривал за лежачей матушкой Лукерьей. Девку Терцину за пусть и бездумное, но всё же участие в устройстве беспорядков хотели наказать и отдать в сельский дом к Луке. Не в одиночку же боярскому сыну было ходить за лежачей старухой. Но она бросилась в ноги к Любаве и объяснила, что для Луки это будет слишком большая награда, а для неё слишком большое наказание. Любава поняла её. И распорядилась так: девка Терцина будет проживать в детинце на самых грязных должностях и каждое утро ждать княжеского решения — отправится она с сего дня в дом Луки или нет. А Лука, соответственно, должен сидеть и ждать, явится она к нему сегодня или нет. А на сколько лет испытание? А кто его знает! Мститель-но? Да, но характер у княжны и в лучшие времена был не сахар.

Князь, по совету врачей, для восстановления здоровья, занялся немного спортом, а именно греблей. Почти каждое утро подданные могли видеть его в двухвёсельной лодке гребущим вдоль берега от главной пристани к знаменитому дубу. Это многим нравилось. Правитель стал ближе к народу. Особенно были польщены гребцы, показавшие свою силу во время известных ночных событий. Они звали Добрыню «Гребной царь».

Лукоморье довольно быстро отмякало, жизнь возвращалась в рамки прежнего устройства. Кормщики сидели в «Кормиле», бездельники, только уже без излишней самокритики, подъедались в «Самобранке». Но некоторые элементы бунташной эпохи остались в лукоморском быту. Например, на нескольких лодях всё же были вместо живых певцов оставлены патефоны. И что характерно, сохранила свои позиции фирма «Рус-алко». Реклама её продукта висела на самых видных местах в городе и, конечно, на запломбированном дубе. А он по весне вдруг невероятно зазеленел, как будто обрёл новое жизненное дыхание.